

ЦЕНТР ТЯЖЕСТИ

АЛЕКСЕЙ ПОЛЯРИНОВ

18+
Содержит
нецензурную
брань!

Претендент на бестселлер!

Алексей Поляринов

Центр тяжести

«ЭКСМО»

2018

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Поляринов А.

Центр тяжести / А. Поляринов — «Эксмо», 2018 — (Претендент на бестселлер!)

ISBN 978-5-04-095505-3

Роман Алексея Поляринова напоминает сложную систему озер. В нем и киберпанк, и величественные конструкции Дэвида Митчелла, и Борхес, и Дэвид Фостер Уоллес... Но его герои — молодые журналист, хакер и художница — живут в Москве и, как могут, сопротивляются наступлению дивного нового мира. И защищают центр тяжести — свой, своих семей и своей родины — как умеют. Содержит нецензурную брань!

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-04-095505-3

© Поляринов А., 2018
© Эксмо, 2018

Содержание

Петро	6
«Графт и сердце»	12
Конец ознакомительного фрагмента.	72

Алексей Поляринов

Центр тяжести

Это напоминает мне, как забавно он описывал мистеру Лангтону несчастное состояние одного молодого джентльмена из хорошей семьи: «Сэр, когда я в последний раз слышал о нем, он носился по городу, упражняясь в стрельбе по котам». А затем мысли его вполне натуральным образом отвлеклись, и, вспомнив о своем любимом коте, он сказал: «Впрочем, Ходжа не пристрелят, нет-нет, Ходжа никогда не пристрелят».

Джеймс Босуэлл. «Жизнь Сэмюэля Джонсона»

Петро

Я был сложным ребенком – я начал приносить родителям неприятности задолго до своего рождения. Когда моей будущей маме было двенадцать – а мне, стало быть, минус двенадцать, – беззубая цыганка на ярмарке сказала ей: «Твой первый сын будет уродом». Мама была молода и суеверна – она поверила в пророчество. Вернувшись домой, она заявила, что ни за что не родит на свет чудовище.

– Но как же так? – удивлялась ее мама, моя будущая бабушка. – Ты хочешь быть бездетной?

– Нет, – сказала моя мама. – Я сначала рожу второго ребенка, а потом резко перестану рожать.

Эта фраза стала семейным анекдотом, ее рассказывали всем гостям во время праздничных застолий.

Но шутки шутками, а мать моя никогда не давала пустых обещаний: зазор между словом и делом у нее тоньше лезвия бритвы.

Когда я родился, вся родня склонилась над моей колыбелью.

– Так-так, – сказал отец, – значит, получилось.

Мой отец – математик. Он не верил в мистику, беззубых цыганок и прочую абракадабру. Если бы ему сообщили, что он будет жить вечно, он из принципа тут же пустил бы себе пулю в лоб – просто чтоб доказать несостоятельность подобного заявления.

И все же – однажды он признался мне, что влюбился в мою маму задолго до того, как встретил ее.

– Мне рассказали, что на журфаке учится барышня, которая собирается рожать детей в обратном порядке. Я был покорен. Заочно.

История их знакомства – загадка. Они прекрасно помнят тот день – проблема в том, что они помнят его по-разному. Или, точнее, помнят разные дни.

* * *

Мама училась на последнем курсе журфака и проходила практику в коммунистической газете «Красный взгляд». Газета бестолковая и тоскливая, как полное собрание сочинений Ленина, – даже сотрудники редакции потешались над изданием и между собой называли его «Конъюнктивит» (символом «Красного взгляда» был огромный красный глаз). Обязанностей у мамы было немного, и все они сводились скорее к редактуре, чем к журналистике. Шел восьмидесят пятый год, 23 апреля, тот самый день – начало перестройки. И так уж вышло, что главный репортер газеты именно в тот день поскользнулся на льду и сломал обе руки («Постой-ка, а как он нашел лед весной? 23 апреля же!») – «Не перебивай! Откуда я знаю? Мне сказали, что поскользнулся на льду». – «По-моему, это странно. Это имеет смысл, только если он на катке был». – «Слушай, помолчи, а?»), и главный редактор вызвал маму к себе в кабинет. Ее задача, сказал он, сидя в огромном красном кресле под портретами-профилями Маркса – Энгельса – Ленина, взять интервью у молодого, но уже очень известного в узких кругах математика, Павла Портного.

– Он будет ждать вас в библиотеке МГУ. Ровно в двенадцать.

Она опоздала на сорок пять минут («Типичная Нина». – «Ой, заткнись»).

И все же маме повезло – в тот день она нашла его. В столовой. Он сидел на подоконнике и, держа между колен разрезанный напополам арбуз, огромной ложкой ковырял хрустящую, красную сердцевину. Худой неухоженный очкарик.

«Явный перебор с бровями», – подметила она.

(«Неправда! Не было никакого арбуза! Я читал книгу! Сител на потоконнике и читал книгу! Откуда вообще взялась эта чепуха про арбуз?» – «Тьфу! То тебе лед не нравится, то арбуз!»)

В тот день моя мать встретила моего отца. Проблема в том, что он встретил ее гораздо раньше.

Они ходили в один и тот же бассейн, при университете. Он плавал на сто метров, она – на четыреста. Он не блистал успехами, да и вообще боялся воды, но все равно каждый вторник натягивал унизительные узкие плавки, надеясь, что когда-нибудь все же наберется смелости и пригласит красотку в кино.

И вдруг она сама нашла его. Он ел арбуз («Не было арбуза! Не было! Я читал книгу!» – «Да? И какую же?» – «Обезьяну и сущность» Хаксли») и был так смущен, что боялся смотреть на нее. Но когда она сказала, зачем пришла, он успокоился – числа делали его бесстрашным.

«Человек-калькулятор, – отзывались о нем коллеги. – Не мозг, а микросхема».

* * *

Моя мать приехала в Москву из далекой провинции – за признанием. Она хотела посвятить свою жизнь чему-то важному и, окончив школу, подала документы в МГУ на факультет журналистики, но за пять лет, тысячу двести сорок часов лекций, тысячу шестьсот сорок часов семинаров и сто два часа практики поняла лишь одно – что ненавидит журналистику и журналистов. И все же эта страсть – служить великой цели – всегда жила в ней и искала выхода. Так Павел Портной, человек-калькулятор, стал ее проектом. У нее появилась цель: посвятить жизнь гению, как Алисия Нэш, Альма Хичкок или Мерседес Гарсиа Маркес. Быть опорой для большого ума, о верности которой через много лет биографы будут с восхищением писать в своих книгах: «Это все благодаря ей!» Она уже видела, как в старости будет гулять по университетским аллеям, и люди будут оборачиваться и шептаться: «Ой, это же жена лауреата премии Филдса, помните ту его трогательную речь? Это он о ней говорил».

Да, именно в таком ракурсе она видела их совместное будущее – и именно над ним собиралась работать. Но – время шло, и оказалось, что не так-то просто заставить гения быть гениальным. Отец так и не выбился в ряды больших ученых – у него не брали интервью (на самом деле, то, самое первое, их совместное интервью – было последним), с его лица не делали слепки для производства бронзовых бюстов. Его пивной живот рос быстрее, чем репутация. А его легкий эстонский акцент – он плохо выговаривал букву «д»: ротина, терево, тверь – с годами все сильнее раздражал ее.

«Он одарен, да, но не талантлив. Это разные вещи. Его статьи в научных журналах так же скучны, как его рубашки и шутки. Да, он почти доказал гипотезу Римана. В этом весь он – одно сплошное «почти», – жаловалась она подругам. Со временем она стала испытывать к нему что-то вроде нетерпеливого раздражения – сродни тому чувству, которое капризный ребенок испытывает к машинке, у которой не крутятся колеса. А гипотеза Римана так и осталась недоказанной.

«Ну чего ты от меня хочешь? – спрашивал он, разводя руками (отчего становился похож на огородное пугало, думала она). – Я живу честно, я телаю свое тело. Чем я провинился?»

«Ну коне-е-ечно! Ты ни в чем не виноват! Это я, это все я! Чего я хочу? Я хочу большего, понял? Сделай одолжение – убери ноль из знаменателя. Такой ум – а дураку достался».

Большой ум должен ослеплять, а не тускло поблескивать в ночи, как бутылочное горлышко в свете луны. Так думала моя мать. И в их любовном треугольнике – он, она и ее амбиции – он оказался третьим лишним.

Красавица и калькулятор.

И каждый вечер, стоя на балконе, завернувшись в плед, докуривая сигарету, бросая бычок в темноту, она говорила себе: «Сама виновата».

* * *

Мое рождение немного изменило схему их отношений. Мать перестала злиться на отца – и раздражение сменилось равнодушием. Женой гения она так и не стала и теперь хотела быть матерью гения. Амбиции ее всегда опережали время – и логику. Уже в четыре года меня отдали в музыкальную школу – по классу фортепиано.

«Ты будешь новым Шопеном», – шептала она, укладывая меня спать.

Но через два года клавишных пыток выяснилось, что особых музыкальных данных у меня нет – и все, на что я способен, это читать партитуры, запоминать последовательность нот, но не играть их.

Тогда мама отвела меня в секцию плавания. «Ты будешь олимпийским чемпионом». На третий день я чуть не утонул в бассейне.

К десяти годам я числился во всех возможных школах, кружках и секциях – включая кружок оригами и школу дрессировщиков перуанских альпак при цирковом училище¹. И везде я был не к месту – как римский сестерций в горсти советских рублей.

Мама отчаянно искала во мне зерно величия – и при этом очень боялась, что я буду похож на отца. А я – уже в одиннадцать лет я мог по памяти воспроизвести число «пи» до пятисотого знака после запятой, ни разу не запнувшись. Отец знал об этом и, конечно, мной гордился, но мы скрывали мой талант от мамы – к тому времени математика в ее глазах была сродни неизлечимой хвори. Она потерпела фиаско с отцом и очень боялась, что я повторю его судьбу. А я – при ней я делал вид, что ни черта не понимаю в цифрах. И получалось, что я вру сразу им обоим: маме – о том, что не похож на отца, а отцу – о том, что хочу быть похож на него.

* * *

Они всегда ругались, если речь заходила о моем будущем.

– Может, лучше спросим у него, чего он хочет? – сказал однажды отец, когда я вернулся с кружка авиамоделирования, облепленный пластиковыми деталями самолета «Ил-2, штурмовик». Мама выковыривала куски фюзеляжа у меня из волос, а отец обрабатывал растворителем пальцы, к которым были намертво приклеены бомбы и закрылки.

– Он ребенок! – сказала мама. – Он не знает, чего хочет. – Она выдернула кусок «Ил-2, штурмовика» вместе с клоком волос.

– Ай! Бо-о-ольно! – закричал я.

– Терпи, – сказала она. – Как ты вообще умудрился? Ей-богу, не ребенок – а беда какая-то! Ну скажи мне, как можно было приклеить к ушам куски пластмассы?

– Это не я! Это ребята! Они спросили, хочу ли я быть супергероем. Я сказал «да». А они сказали, что я теперь – человек-самолет.

Мама не оценила шутку.

– И все-таки, может, не стоит отправлять его на все возможные секции от-тнoвременно? – не унимался отец.

Он отдирали закрылки от моих пальцев и бросал их в эмалированную кастрюлю с теплой водой, стоявшую рядом.

¹ Ладно, шучу, не было такой школы; но если бы была, меня бы и туда записали.

– Ребенок должен всесторонне развиваться, – сказала мама. – Ты у нас умник, но почему-то ничего никогда не знаешь. Прочитай любую книгу по детской психологии. Детский мозг как губка: он впитывает информацию в семь – слышишь, в семь! – раз интенсивнее, чем мозг взрослого дурака.

– И что с того? – спросил отец. – Это вовсе не значит, что он т-толжен пахать за семерых. Ты ведь помнишь себя в детстве, ты наверняка уже знала в десять лет, что тебе нравится, а что нет.

– Да ничего я не знала ни в «детстве», ни в «десять лет»! – Мама всегда издевалась над его произношением, когда они спорили.

Она выдернула у меня из волос деталь «Ил-2, штурмовика».

– Ай! Бо-о-ольно!

– Терпи. Это что такое? – Она показывала мне деталь.

– Это ротор, – сказал я. – На него крепится винт.

– Вот видишь! – сказала мама отцу. – Даже если ему не нравится то, что он делает, возможно, эта информация пригодится ему в будущем. Человек должен быть всесторонне развит. А ты знаешь, что такое ротор? Вот и я думаю, что нет.

Я хотел почесать затылок, но отец схватил меня за руку.

– Кута? У тебя руки в ацетоне.

– Но у меня чешется.

– Чешется у него! Где чешется?

– В затылке.

Мать с отцом стали вместе чесать мне затылок: мама левое полушарие, папа – правое. Мама чесала нежнее.

– Скажи: тебе нравится секция авиамот-тэллирования? – спросил отец.

– Ну, вообще-то... – начал было я, но мама меня перебила:

– Перестань портить ребенка!

– «Портить»? С чего это? Я просто хочу узнать больше о его претпочтениях. Разве тать ребенку то, что он хочет, – это не самое лучшее воспитание?

– Брось! Ты прекрасно знаешь, что воспитание состоит из ограничений. – Мама презрительно посмотрела на него. – Дешевый трюк!

– Какой трюк? Нет никакого трюка!

– Ты пытаешься выставить меня ответственной за все ограничения, а сам эдак исподтишка даешь ему мнимую свободу. Это популизм.

Они стали ругаться, продолжая чесать мой затылок.

– «Популизм»? Нет никакого популизма!

– Перестань делать это!

– Телать что?

– Ты все время повторяешь последнее мое слово.

– Слово?

– Ну вот опять!

– Опять?

Отец улыбался – ему нравилось злить ее.

– Мам, пап! Мне больно! – подал голос я, и они перестали чесать мой затылок.

– Ты предлагаешь дать ребенку свободу, – сказала мама. – Но он же ребенок. Если детям дать свободу, они через час заболеют, объевшись мороженого. А через сутки превратятся в чумазных мартышек.

– Может быть, в этом твоя проблема? – сказал отец. – У тебя комплекс Атланта: тебе кажется, что небо рухнет, если ты не будешь его терзать. Просто ослабь хватку. Совсем чуть-чуть. Перестань терзать небо.

Повисла тишина. Мои родители смотрели друг на друга, я смотрел на них снизу вверх, сидя на табуретке, все еще облепленный деталями «Ил-2, штурмовика».

– Ты – прямо типичный козерог, – сказала мама презрительно.

Отец закатил глаза: «О господи! Опять».

– Ну, конечно, – вздохнул он, – звезды виноваты.

– Можешь сколько угодно издеваться над астрологией, но все твоё поведение сейчас доказывает, что я права. Ты – упертый, упрямый скептик, как и все козерог.

– То есть, по-твоему, я не верю в астрологию потому, что я козерог?

Мама хотела ответить ему, но не нашлась и повернулась ко мне:

– Петро, сынок, скажи: может быть, ты хочешь записаться в какую-то конкретную секцию?

– Или уйти из какой-нибудь, – добавил отец.

Я испуганно смотрел на них снизу вверх. Это был первый раз в моей жизни, когда родители спросили мое мнение. По спине, вдоль позвоночника, гадко щекоча, прокатилась холодная капля пота. Я видел глаза отца – я знал: он ждет от меня поддержки его математической линии. Но я не мог – ведь я хотел совсем другого.

– Я хочу быть антропологом, – сказал я.

– Чего-о? – Они переглянулись.

– Простите, – пробормотал я, глядя на свои ладони, облепленные бомбами и закрылками «Ил-2, штурмовика». – Я много думал: я всегда мечтал путешествовать и изучать странные вещи. Я люблю странные вещи. А недавно я узнал, что существует такая профессия – антрополог. И я решил, что буду антропологом.

Родители молча смотрели на меня. Прошло примерно двести семьдесят пять лет, прежде чем они оттаяли и снова заговорили.

Отец виновато чесал затылок – на этот раз свой.

– Тела-а-а, – сказал он.

– Мам, пап! – Я видел, что они не воспринимают меня всерьез, и мне хотелось плакать от обиды. – Я уже даже прочитал одну книгу по антропологии: там человек три месяца жил среди дикарей. Я тоже так хочу. Я хочу в Монголию.

– Почему в Монголию?

Я пожал плечами:

– Потому что там есть дикири.

– О-х-х... – Мама погладила меня по голове. – Поверь, сынок: дикири есть везде. И чаще всего даже там, где ты совсем не ожидаешь их встретить.

* * *

Все эти разговоры угнетали меня – я жил с ощущением, что не справляюсь с тяжестью родительских надежд. Но я был хилым ребенком – и надежды давили все сильнее: и чем бы я ни занимался – я был ниже среднего; как тройка в школьном дневнике: всего лишь «удовлетворительно» и оттого постыдно.

«Завышенные ожидания родителей – одна из главных причин детских комплексов» – это я вычитал в книжке по воспитанию детей. У мамы их полно. И книжек, и ожиданий. Она сама – дочь талантливой пианистки и потомственного военного – выросла под высоким давлением родительских упований. От нее всегда чего-то ждали – успехов, достижений, медалей. И вот, казалось бы, ее наполненное невротами детство должно было как-то скорректировать ее отношение к собственным детям – но не тут-то было. Довольно сложно вырасти уверенным в себе человеком, если твои родители постоянно говорят тебе: «Ты недотягиваешь». А если и не говорят, то ведут себя так, что все понятно без слов.

А между тем мама была очень талантлива. Честное слово, я не преувеличиваю и не пытаюсь приукрасить прошлое. У нее был дар – она сочиняла сказки. Выдумывала их буквально на ходу, когда укладывала меня спать вечерами.

Однажды я пришел домой из школы, и, помогая мне раздеться, мама нашла в моем кармане камень.

– Это еще что такое?

Я рассказал, что видел по телевизору, как ураган вырывает дерево из земли и уносит прочь. И этот образ так напугал меня, что теперь, выходя на улицу, я набивал карманы камнями – мне казалось, что если меня настигнет ураган, то тяжесть камней не позволит ему оторвать меня от земли. Мама внимательно слушала историю. Она не смеялась надо мной и не называла меня дурачком – нет, она всерьез задумалась над моими словами. И уже вечером, вдохновленная моей историей, она написала сказку.

«Графт и сердце»

Графт был необычным мальчиком – он родился без сердца. В прямом смысле. Под ребрами с левой стороны у него было пусто. А в остальном он был такой же, как все, – любил футбол, конфеты и маму. Он никогда не дрался, не грустил и не дергал за косички одноклассниц – он был сам по себе. Как большой палец на руке.

И только одно беспокоило его родителей: Графт был такой легкий, что при ветреной погоде ему приходилось носить в кармане тяжелый камень, иначе ветер уносил его слишком далеко от дома.

Мать водила его по врачам, но никто из них так и не смог объяснить, почему ребенок весит не больше сухого листа и как это связано с отсутствием сердца.

Вот так и проходил Графт всю свою юность с пустой грудной клеткой и камнем в кармане. Окончил школу, институт – и пришло время искать работу. Все люди работают – а почему, зачем? Никто не знает. Графта учили, что человек должен приносить пользу, поэтому и работу он искал особенную: такую, где он мог бы быть полезен.

Он решил стать врачом и пошел в больницу.

Приходит и говорит:

– Я хочу быть врачом. Дайте мне больных, я буду их лечить. – И кулаком по столу стучит. – Где больные? Я пришел их лечить. Почему мне не дают больных?

– А почему вы хотите лечить людей? – спросили у него люди в белых халатах.

– Я умный! – ответил Графт и опять стукнул кулаком по столу. Он любил стучать кулаком по столу – ему нравились громкие звуки. – Я знаю о внутренних органах все. Я окончил институт – вот красный диплом. Еще у меня есть зеленый и синий. У меня много дипломов, потому что я умный, а вы – нет. Ха-ха-ха! – засмеялся Графт. У него было необычное чувство юмора.

– А справка о здоровье у вас имеется? – спросили люди в белых халатах. – Чтобы лечить больных, надо самому быть здоровым?

– Конечно, есть! Вот!

– Но постойте! – сказали люди в белых халатах. – Тут написано, что у вас нет сердца.

– Ну и что? Зато у меня есть руки. Разве больных лечат не руками? – Графт показал им свои огромные руки, пошевелил пальцами.

– Извините, – сказали люди в белых халатах. – К сожалению, мы не принимаем на работу людей без сердца.

– А что же мне делать тогда? – спросил Графт.

– Ну, вы можете стать политиком. Или военным. Или адвокатом.

– Но я хочу приносить пользу! – сказал Графт. – Я много учился, я много знаю!

– Для того чтобы приносить пользу – знать недостаточно, – сказали люди в белых халатах.

И Графт ушел. Он совсем не расстроился – у него ведь не было сердца. И даже в детстве, когда он читал книги – например, «Дон Кихота», – ему было скучно: он не понимал, почему люди страдают, встречая несправедливость.

Графт переходил дорогу, когда его окликнул человек: «Эй, парниша! Я слышал, тебе нужно сердце?»

Графт обернулся. Перед ним стоял некто в коричневом плаще – руки он держал в карманах, а высокий воротник был поднят; Графт не видел лица, и ему казалось, что это сам коричневый плащ с ним разговаривает.

– Что вы сказали?

– Я могу продать тебе сердце. Ты ведь хочешь приносить пользу?

Графт кивнул.

Коричневый Плащ повел его по узким, темным переулкам, они зашли в какой-то подвал, где одинокая лампочка освещала стол, стоящий посреди пустой комнаты. Порывшись под столом, коричневый плащ достал картонную коробку и открыл ее. Графт заглянул туда – и увидел десятки сердец. Синевато-красные, овальные – они выглядели точь-в-точь как на картинках в учебнике биологии. Только живые, настоящие. И все они бились, пульсировали – одни быстро и громко, другие медленно и спокойно.

– Это отдам за полцены, – сказал Коричневый Плащ, указав на маленькое чахлое сердце с дырочкой в боку.

Дырочка была заклеена пластырем, но пластырь держался плохо. Сердце билось – и дырочка свистела, приподнимая пластырь.

Графт взял одно сердце – и оно засветилось у него в руках, как лампочка.

– А чего это оно? – спросил Графт.

– Чувствует тепло человеческих рук, – сказал Коричневый Плащ. – Они всегда так. Люди часто покупают их как светильники. Это очень выгодно – гораздо выгоднее даже, чем энергосберегающие лампы. Сердцу ведь не нужно электричество – достаточно сказать несколько ласковых слов, и оно начинает светиться. Глупый орган.

– Да. Глупый, – согласился Графт. – А сколько стоит?

– Это зависит от сердца. Вот это – тысячу, а вот это – сто.

– А почему так дешево?

– Оно бракованное. Видишь, треснуло.

– А чего оно треснуло?

– Не знаю. Уронили, наверно. Или от холода. Но ты не бойся, треснутое сердце даже лучше. Оно светит, конечно, не так ярко, зато чувствует больше и сильнее. Ты ведь хочешь приносить пользу – тебе пригодится. Парадокс, но поврежденные сердца приносят гораздо больше пользы. К тому же у меня сегодня акция: если ты купишь это треснутое сердце, в подарок ты получишь красный клоунский нос и оленьи рога.

– Зачем мне оленьи рога?

– Как это зачем? А вдруг на тебя нападет олень! Что ты будешь делать без рогов?

Графт покачал головой.

– Я не думаю, что на меня нападет олень, – сказал он.

– Ты смотри, какой самоуверенный! – цокнул языком Коричневый Плащ. – Ну, если не хочешь рога, тогда возьми вот эту кожаную перчатку.

– Одну? А где вторая?

Коричневый Плащ разозлился.

– Слушай, чего ты придираешься! Не будь занудой! Ну хорошая же перчатка – смотри!

– Да я вижу, что хорошая. Но ведь она одна – а рук у меня две. – Графт выставил перед собой свои огромные руки, пошевелил пальцами.

– Да-а-а, это проблема, – задумчиво сказал Коричневый Плащ. – Но ты не злись. Я просто продолжаю дело своего отца. Мой папа всегда терял вещи: носки, ботинки, перчатки. И его это ужасно злило, потому что терялись у него всегда парные вещи. И однажды в голову ему пришла гениальная идея: он открыл магазин, в котором стал торговать одиночными вещами: одна перчатка, один ботинок, один носок. Идея была проста – ведь люди постоянно теряют вещи, правильно? Особенно носки! Ну вот, представь: потерял ты один носок, и один у тебя остался. Что делает в таком случае обычный человек? Просто выбрасывает второй! Но ведь это – ужасное расточительство! Выбрасывать вещи! Замысел моего папы был прост: любой человек, потерявший одну из парных вещей, мог просто прийти в его магазин и найти новую пару! Гениально, правда?

– Да, наверно, – с сомнением сказал Графт.

– Вот поэтому я и хочу продолжить его дело. А пока торгую сердцами – коплю стартовый капитал. Уже через год я собираюсь открыть магазин «Потерянных пар».

– Удачи тебе. Но мне сейчас не нужна перчатка – я куплю вот это сердце.

– Отличный выбор! Хочешь, я заверну его в подарочную бумагу? – спросил Коричневый Плащ.

– Нет, не надо. Оно маленькое – я просто положу его в карман.

– Ну что ж, спасибо за покупку. Не забудь чек, гарантия две недели. Если передумаешь насчет перчатки – ты знаешь, где меня найти. И не жалуйся, если на тебя вдруг нападет олень! Сам виноват – надо было брать рога!

Графт шел по улице, и вокруг не было ни одного оленя.

Сердце тихо билось у него в кармане. Оно было мягкое и горячее, Графту нравилось прикасаться к нему. Раньше он никогда не видел настоящих сердец – и теперь очень удивился, когда заметил, что карман его светится ярко-ярко, дрожащим светом. Как будто там горит костер.

Графт пришел домой, положил сердце на стол и долго смотрел на него. И как-то радостно было у него внутри. «Надо же, – думал он, – теперь у меня есть собственное сердце. Это очень приятно. А почему – непонятно. Без всякой причины».

Он подошел к плите, взял чайник и хотел налить воды – и вдруг услышал тихий шлепок. Он обернулся – сердце упало со стола и покатилося к двери.

– Стой!

Графт догнал его и подхватил. Сердце вспыхнуло – и на мгновение ослепило его. И пока из глаз его сыпались искры – он увидел лицо девушки. Сердце принадлежало ей – и теперь стремилось обратно.

– Но ты мое! Я ведь тебя купил, – сказал Графт.

Сердце снова вспыхнуло, и он почувствовал, как внутри у него все заболело – как будто птица била крыльями у него под ребрами, в пустоте.

Сердце снова выпало у него из рук и, как клубок ниток из сказки, покатилося к двери. Графт открыл дверь – и сердце выкатилось наружу. Оно катилось медленно – и светилось все сильнее. Графт шел за ним и иногда нес его на руках, переносил через лужи и помогал переходить дорогу. Люди оглядывались удивленно.

– Вот чудак! – говорили они. – Сердце выгуливает! Все же знают, что сердце надо держать под замком или на поводке, чтоб никто не украл и не разбил. Одни проблемы от него. Глупый орган, – говорили люди и шли дальше.

А Графт шел за сердцем. Оно привело его в парк, где на скамейке у озера сидела девушка с длинными волосами. Волосы были такие длинные, что путались вокруг скамейки, и лежали на дороге. Прохожие шли мимо, осторожно переступали через волосы и ругались.

– Ишь, разбросала свои косы! Причесалась бы хотя бы, шельма!

Девушка не слушала их, она кормила стаю воробьев хлебными крошками. Сердце подкатилось к ней и остановилось. Девушка испуганно посмотрела на него, потом – на Графта. Графт поднял сердце, отряхнул от пыли, снял несколько сигаретных бычков, прилипших по пути, и протянул сердце девушке.

– Кажется, оно ваше, – сказал он.

Девушка посмотрела на сердце – и пожала плечами.

– Больше нет. Я подарила его.

– Как? Кому?

Графт стоял, не двигаясь, окруженный воробьями. Воробьи сидели на его ботинках, на руках, на плечах, на голове – и даже на носу и на ушах. И каждый воробей смотрел на сердце.

– Я подарила его одному человеку, – сказала девушка. – А он поменял его на ботинки. Синие, замшевые, с белыми шнурками.

– А что было дальше? – спросил Графт, и воробьи взлетели с его рук, носа и ушей, окружились над ним и расселись на ветках акации.

– Ничего, – сказала девушка. – Он до сих пор ходит в этих ботинках.

Графт сел рядом с девушкой и положил сердце ей на колени.

– Где вы его нашли? – спросила она.

– Купил.

– А зачем оно вам?

– А у меня нет сердца. Я родился без него. Хотел вот, так сказать, восполнить пробел. Но раз уж оно ваше, то...

– Но я не могу забрать его у вас.

– Почему?

– Оно слишком тяжелое. Сердце – центр тяжести человека. Вся тяжесть в нем скапливается, а я не хочу так. Я не смогу его нести – мне тяжело, я надорвусь.

Графт долго смотрел на девушку – ему хотелось прикоснуться к ней.

– Хочешь, я помогу тебе нести его? – спросил он.

Так они и сделали. И жили долго и счастливо – с одним сердцем на двоих. А Графт с тех пор вместо камня носил в кармане только конфеты. Он больше не боялся ветра.

* * *

– А почему его зовут «Графт»?

– Это твое первое слово. Первое, что ты сказал в жизни, – засмеялась мама. – Вот я и подумала: неплохое имя для сказочного персонажа. У кого-то первое слово «мама», а у тебя было «графт». Ты как будто рычал или лаял.

Окончив рассказ, мама целовала меня в лоб, выключала ночник и уходила. А я лежал в кровати, таращился в потолок и думал: о Графте, и его бессердечии, и о камне в его кармане, и о Коричневом Плаще, и его странных затеях, и, конечно, о девушке, которая подарила свое сердце незнакомцу. И я мечтал, чтобы какая-нибудь девушка с длинными волосами подарила свое сердце мне. Я бы никогда и ни за что не променял ее сердце на синие замшевые ботинки с белыми шнурками. Я берег бы его, сдувал бы с него пылинки – и каждый вечер, сидя в кресле, читал бы (или писал) книгу при свете этого сердца.

* * *

Если мама в своих историях делала упор на воображение и развитие души героя – ее притчи учили добру и храбрости, – то рассказы отца были другими, под стать его характеру, они напоминали краткие эссе о природе вещей. Когда приходила его очередь провести со мной вечер, он садился не на край кровати, как мама, а на стул, оглядывал комнату, выбирал какой-нибудь незначительный предмет – например, карандаш, канцелярскую скрепку или, как было однажды, стену – и начинал:

– Сегодня мы поговорим о стенах. Что мы знаем о них?

Я пожимал плечами.

– Ну, во-первых, они отлично играют в теннис – и всегда выигрывают, – говорил отец, стараясь сохранять серьезность. – Во-вторых, стены – скучные собеседники. Мой тебе совет, сын: никогда не разговаривай со стенами – это пустая трата времени. Парадокс: в народе стена не считается таким уж революционным изобретением; во всяком случае, в рейтинге полезности она уступает колесу и математике. Но, по-моему, это несправедливо: вот мир без математики я легко могу себе представить – для этого нужно всего лишь сходить на рынок; а давай представим себе мир, где нет стен. Куда ты теперь будешь клеить обои – на деревья? А рамки

с фотографиями? Мир без стен превратится в хаос: ведь если их нет – то окна будут просто глупо висеть в воздухе, а двери вообще потеряют смысл.

Он делал паузу, подмигивал мне.

– Ладно, шутки в сторону. На самом деле стены могут рассказать гораздо больше, чем ты думаешь. Заурядны не стены – заурядны те, кто считает их таковыми. Нужно лишь научиться понимать их язык – язык жестов своего рода.

Не веришь?

Я качал головой.

– Навскидку вот тебе две стены – Великая Китайская и Берлинская. Первая – отражение Востока, вторая – Запада. Первая – символ единения, вторая – раскола. Первая стоит уже десятки веков, вторая рухнула, едва отпраздновав двадцать седьмой день рождения. Возведение обеих было своего рода жестом.

Странно: в западной культуре слово «стена» вообще имеет негативный оттенок («разговаривать со стеной», «сидеть в четырех стенах»). Восток же видит все иначе: для них стена – не столько символ герметичности, сколько – самобытности. В японских домах стены бумажные – чтобы подчеркнуть тонкость ощущений, возможно. И, я думаю, нам стоит у них поучиться.

Стены умеют говорить – и чем старше стена, тем громче ее голос. Стена со следами пуль в кирпичной кладке гораздо красноречивей, чем газетная статья о расстреле. Стена Плача прочнее, чем стены военного бункера – потому что у нее есть голос, и ее цель – не защитить, а дать надежду. Стены бункера защитят тебя, но надежды ты от них не дождешься. Мой рассказ кажется тебе чересчур помпезным? Что ж, виновен – люблю передразнивать Гюго.

Вот пара интересных фактов: в некоторых арабских странах в качестве скрепляющего раствора для стен использовали мед; а Стена Плача вообще возведена без скрепляющего раствора. Ты все еще считаешь стены скучными?

* * *

Мои родители отличались друг от друга так же, как их истории. Они как будто жили в разных мирах; или все же в одном – но по разные его стороны: как Западный и Восточный Берлин. И даже я не стал для них скрепляющим раствором.

А потом все стало еще сложнее – мне сказали, что у меня «будет братик».

– Братик? – Я удивленно смотрел на маму. – Но мне не нужен братик. Я хочу видеокамеру.

– О гс-с-споди, Петро! Ты сам себя слышишь? – Мать гладила себя по животу. – Нельзя так говорить.

Братик, Егор, родился, когда мне было шесть. Мама к тому моменту уже забыла о предсказании гадалки и о своем обещании «родить сначала второго ребенка, а потом резко перестать рожать».

И в жизни моей стало на одну проблему больше.

«Странное дело, – думал я, глядя на мамин растущий живот, – он еще даже дышать самостоятельно не может, но уже умудрился испортить мне жизнь».

* * *

Детство – это метаморфозы; каждый ребенок – немного Овидий; он пишет собственную историю перевоплощений. Это взрослые «ищут себя» (что бы это ни значило), но дети – другие, они ищут новые формы себя. Оно всегда так: мне бы вершить судьбы мира, а тут – домашка по алгебре. Сложно достать луну, если ты даже пакет молока с верхней полки холодильника не

можешь достать без табуретки. И я – я был настолько одержим далекими мирами, мечтами о другой, удивительной жизни, что даже в школе стал врать всем о своем происхождении.

Мне было тринадцать, когда наша семья переехала в поселок Рассвет в Ростовской области (поближе к маминым старым родителям и новой отцовской работе), и седьмой класс я оканчивал уже в совершенно другой школе. Каждый новичок знает это унижительное чувство – когда учитель выводит тебя к доске и заставляет рассказать немного о себе. И – клянусь вам: когда я стану президентом, я первым делом наложу мораторий на подобные пытки. У меня будет два моратория: на баранки и на вызов к доске.

Почему на баранки? Не спрашивайте, это слишком личное.

И вот: я стою перед одноклассниками – во всей красе. Точнее, во всей нелепости: ведь мама, по случаю первого дня в новой школе, нарядила меня в костюм с лиловым галстуком. Спасибо, мама. Низкий поклон тебе, тройной книксен. Даже если бы у меня на шее висел мертвый пудель, я бы вряд ли так сильно бросался в глаза. Ах да: мои волосы – они намочены и зачесаны набок с ровным пробором – мое сходство с Гитлером настолько вопиюще, что я уже мысленно планирую захват Польши².

– Класс, знакомьтесь, это наш новый ученик, Петр. У него очень интересная фамилия: Портной, – говорит Нина Петровна, учительница литературы и русского языка. – Сейчас Петя расскажет нам немного о себе. – Она смотрит на меня и кивает.

Я выдаю скороговоркой:

– Рост: метр семьдесят шесть. Размер ноги: тридцать семь. Любимый цвет: красный. Можно я пойду?

– Петя, постой, куда ты?

Нина Петровна изумленно смотрит на меня. Класс хихикает – и это хорошо: я чувствую, как атмосфера медленно оттаивает. Мне страшно смотреть на одноклассников, и я разглядываю кактус на подоконнике. Кактус выглядит вялым и уставшим, и я его понимаю.

Нина Петровна прочищает горло, все замолкают.

– Петя, – говорит учительница, – я имела в виду твою жизнь. Откуда ты, кто твои родители. Вот кем, например, работает твой папа?

Я бросил на нее полный отчаяния взгляд. Ну почему – во имя всех слепых котят, во имя Александра Сергеевича Пушкина, во имя озоновых дыр, почему?! – ты задала мне именно этот вопрос? Ты, странная женщина в черно-бело-полосатом пиджаке, из-за которого тебя всю жизнь будут называть «Пианиной Петровной».

Я вспомнил насмешки одноклассников из прошлой школы: «А знаете, как родился Портной? Его папа возвел его маму в квадрат, а потом извлек из нее корень, ха-ха-ха!»

Передо мной сидели дети, способные превратить в дантов ад следующие шесть лет моей жизни (по полтора круга на каждый год), и некоторые из них, пожалуй, именно это и собирались сделать. Я просто не мог – не мог, понимаете? – сказать правду.

– *Мой папа – антрополог.*

Я соврал – это вышло спонтанно.

Класс зашуршал – дети слышали это слово впервые и теперь были заинтригованы. Я буквально видел, как шевелятся их любопытные уши, как глаза их наполняются интересом к моей скромной персоне. Это было... приятно.

– Пардон-н-н, – спросила Пианина Петровна. Она всегда растягивала букву «н» в слове «пардон», если ее что-то удивляло. – Ты, верно, что-то напутал. – Посмотрела в журнал, провела длинным розовым ногтем по одной из строчек. – У меня написано, что твой папа – преподаватель высшей математики.

– Это ошибка, – сказал я, сглотнув. – Он антрополог, он изучает монгольских дикарей.

² Красть шутки у Вуди Аллена нехорошо. – *Примечание Егора.*

Так началась моя «Монголиада», короткая и бесславная.

Пианина Петровна осторожно присела на край стула. Класс зашептался. А я мысленным веником смел под мысленный ковер последние крохи стыда – и стал рассказывать трагическую историю своей вымышленной жизни: о том, что мой отец женился на моей дикарке-матери лишь из любви к науке и провел с ней всего одну ночь; и что я – результат этой ночи; и что родился я в монгольской пустыне; и что раскаленный пустынный песок оставил на моем теле – и на душе, конечно, тоже, куда ж без этого? – незаживающие шрамы...

– Закежь шрамы! – раздался возглас с задней парты.

Я выпростал рубашку из брюк, задрал ее насколько возможно и повернулся спиной к классу. Пианина Петровна кинулась ко мне и потянула рубашку вниз, издавая невнятные звуки расстроенного пианино (как если бы кошка гуляла по клавишам). Но было поздно – все одноклассники увидели мои ожоги, и по классу, как по стадиону, прокатился одобрительный гул.

– Птр Пртний! Нмедленно престань хлиганить!

Естественно, шрамы мои не имели никакого отношения к раскаленному песку пустыни Шамо. Эти ожоги я получил в три года, когда пытался помочь бабушке донести до ванной кастрюлю с кипятком (мой вам совет: опасайтесь бабушек. Любой предмет в их руках может стать оружием).

В тот день я впервые в жизни понял, что это значит – завоевать аудиторию.

* * *

После уроков учительница, разумеется, позвонила родителям, и дома меня ждала вбучка. Мама дрожащим голосом говорила что-то о лжи и ответственности, а я стоял в дверном проеме, опустив голову, в знакомой позе осужденного, и разглядывал дырку в носке (вот, кстати, еще вопрос: почему пальцы на ноге называются так же, как и на руке? Зачем мне на ноге «указательный палец»? Я ведь ни разу в жизни им не указывал! Нелогично как-то). Отец сидел за столом на кухне и ножом намазывал масло на хлеб, сосредоточенно, с видом реставратора, наносящего лак на фреску.

Мама повернулась к нему:

– А ты ничего не хочешь сказать?

– А? – Он отвлекся от бутерброда. – Сказать о чем?

– Твой сын сегодня придумал себе новых родителей.

– Слушай, ты сама готами утюжила его всеми этими своими «техниками развития воображения». – Он отложил бутерброд и изобразил кавычки пальцами, потом показал на меня: – Вот, пожинай плоды, у него отличное, первоклассное воображение.

– Ну знаешь, есть разница между воображением и ложью.

Отец вернулся к бутерброду:

– Это уже из области этики, а в ней я не силен. Я математик, помнишь?

* * *

Не поймите меня неправильно – я не против математики. Очень даже «за». Между прочим, я и сам чертовски умен. И не надо ухмыляться, я серьезно. Вся штука в том, что быть умным и быть интересным – не одно и то же. Если ты можешь по памяти воспроизвести число «пи» до пятисотого знака после запятой – ты умен; и все бы ничего, но число «пи» не поможет тебе завести друзей. Поверьте, я проверял.

* * *

Я очень быстро понял, что совершил ошибку – нарушил главное правило новичка в сельской школе: «Не отсвечивай».

Я сочинил «Монголиаду», потому что хотел понравиться новым одноклассникам, впечатлить их, но оказалось, что улучшенная, более экзотическая версия моего прошлого вовсе не сделала меня популярным, – как раз наоборот: я стал изгоем.

Все началось с целого вороха кличек: «монгол», «бархан», «верблюдоеб», «горбатый», «порнокопытный», «саксаул». Придумывать клички мальчишкам быстро надоело, и вскоре от слов они перешли к делам: например, однажды на физкультуре я оставил сменку в раздевалке и, когда вернулся, обнаружил, что мои ботинки под завязку набиты песком.

Главным зачинщиком и дирижером всех издевательств в нашем классе был Тимур Головня, мальчишка, чья фамилия, похожая на кличку уголовника, словно бы предопределила его будущее. Неправильный прикус придавал его и без того озлобленному лицу какое-то совсем свирепое, бульдожье выражение. Он был самым старшим, самым высоким и самым тупым в классе – даже свою фамилию писал с ошибками. И только две вещи он умел делать хорошо – играть в футбол и унижать слабых.

Опознать изгоя легко: единственное свободное место в классе – рядом с ним. Так вот, первые две недели весенней четверти я просидел за партой в одиночестве (увы, совсем не в гордом), но в середине апреля все изменилось – в классе появился еще один ученик. Он не был новичком, просто пропустил учебу из-за болезни.

Его звали Александр Грек. Тщедушный, низкорослый и лохматый, внешне – типичный мальчик для битья, с вечным насморком и криво подстриженной челкой, падающей прямо на глаза (явный признак крайней нищеты родителей, в деревне таких видно издали; кривая прическа всегда означает, что ребенка стригут дома, обычными, самыми дешевыми ножницами, потому что на парикмахера денег нет и не будет). Он плюхнулся рядом со мной, но лишь потому, что других свободных мест в классе не было.

Мы оба не особо стремились к знакомству, поэтому первое время делали вид, что не замечаем друг друга, хотя он, очевидно, старательно изучал меня, а я – его.

Первое, что я заметил (и после этого сразу зауважал его): он не смеялся над тупыми шутками «крутых» пацанов.

Знаете, в каждом классе есть парочка таких комиков, альфа-самцов, которые любую, даже самую безобидную реплику учителя стараются переделать в шутку, выкрикнуть что-то с места. Их цель – заставить класс смеяться. Самое противное в том, что шутки у них, как правило, несмешные, и остальные дети реагируют вовсе не на юмор, а на репутацию. Если хохочешь над шутками альфа-самца, это снижает вероятность встречи с его кулаками.

У всех учителей в школе были клички. Учителя литературы звали «Федя ФМ», манерой речи он действительно напоминал радиоведущего: он приносил на уроки свой двухкассетный магнитофон «Панасоник», периодически включал его прямо посреди урока, его рассказы о писателях перемежались музыкальными паузами и фрагментами из известных радиопьес.

В конце апреля на одном из уроков он рассказывал нам о «Евгении Онегине»:

– Пушкин, – воскликнул он, – это пир духа!

Один из «крутых» пацанов поднял руку.

– Да, Михаил, что ты хотел?

– Вы сказали «пирдуха»?

Учитель кивнул, он был так увлечен поэзией Александра Сергеевича, что не заметил подвоха.

– Пирдуха? – повторил пацан, удалив пробел между двумя словами. По классу волной пробежались сдавленные смешки. – Зачем вы обзываете Пушкина «пирдухой»? Что он вам сделал?

Пацаны прямо давились от смеха, девчонки тихо хихикали, зажимая рты ладонями. Но я сидел смирно и всеми силами душил в себе эти подбострастные хиханьки; нет, ну правда: эта шутка такая старая, что ее бородой можно пару раз окольцевать экватор. Я посмотрел на соседа по парте, он тоже не смеялся и точно так же, как я, всем своим видом демонстрировал презрение к тупым шуткам. «Эй, может быть, он не так уж и плох. У него есть гордость», – подумал я.

Как выяснилось позже, он в тот момент то же самое подумал обо мне.

На следующий день, когда раздался звонок на большую перемену, он протянул мне записку: «Рюкзак возьми с собой, иначе они тебе туда песка насыплют».

В этой записке меня удивили две вещи: отсутствие ошибок и идеальный, почти каллиграфический почерк.

И – на последнем уроке: «Они будут ждать тебя за живой изгородью по дороге на площадь Четырех Елок. Хотят насыпать песка за шиворот. Советую идти через лесополосу, вдоль трассы».

У меня не было особых причин доверять ему, это могла быть и ловушка, и все же: он ведь не смеется над их шутками, значит, он не один из них, думал я. И оказался прав: благодаря его наводкам я успешно избежал нескольких засад. Он стал моим информатором, заранее предупредив меня о планах Тимура и его команды. Вообще, эти уроды со временем даже как-то забыли обо мне.

– Как тебе это удастся? – спросил я однажды. – В смысле как ты узнаешь об их планах?

– Всех представителей рода говнюков объединяет одно, – ответил он, убрав челку с глаз, – они крайне неизобретательны. У меня было время изучить их повадки. – Пауза, вздох. – На твоём месте раньше был я.

Так началось наше знакомство.

Главное, что меня поражало в Греке: он был как бы сам по себе, не пытался никому понравиться. У него совсем не было друзей, и вел он себя так, словно и не нуждался ни в чьей дружбе. Он везде появлялся с книгой, постоянно что-то читал и этим нарушал главное правило выживания в сельской школе: «Не отвечивай». Мальчишки-школьники всегда особенно тщательно следят за своей репутацией, и если кто-то и читает книги, то старается помалкивать об этом, за такое и побить могут: «Слышь,мышь! Ходь сюды! Че это ты книжки читаешь, ты чо, самый умный, что ли? А может, ты того, гомик? Любишь книги? Книгоеб, что ли?» Но Грек не боялся быть осмеянным. На физкультуре, пока мы разминались или играли в футбол, он сидел с книжкой в руках за линией поля, прислонившись спиной к стволу акации. И даже когда пацаны ради смеха запускали в него мячом (игра называлась «попади в книгоеба»), он просто убирал упавшую на глаза челку (таким, знаете, характерным движением), подбирал выскользнувшую из рук книжку, отходил подальше, садился на землю и снова отращивал вокруг себя невидимый, непроницаемый купол одиночества.

* * *

Когда мы переехали в Рассвет, мой младший брат Егор пошел в первый класс, мама снова стала искать работу – и вскоре устроилась редактором в небольшое издательство в Ростове – и после этого, разумеется, свалила на меня все свои обязанности. Теперь я должен был делать свои уроки, убираться в комнате, мыть посуду после ужина и забирать малька из музыкальной школы. Из ее сына я превратился в ее раба.

– Но почему опять я?!

Мама сидела за трюмо в голубом халате и расчесывала волосы белым гребешком, похожим на фрагмент рыбьего позвоночника. Она посмотрела прямо на меня через зеркало.

– Потому что я вернусь с работы только в семь. Занятия у Егора закончатся в шесть. Поэтому кто-то должен его забрать.

– Да, но почему этот «кто-то» всегда обязательно я?

– А у тебя есть какие-то другие кандидатуры?

– Ну, не знаю, ты можешь родить еще одного ребенка, и пусть он забирает Егора из школы.

Мама не оценила шутку и просто вернулась к своим волосам.

– Разговор окончен, – сказала она.

* * *

Когда Егору стукнуло четыре, мама всерьез взялась за него. Как и меня когда-то, она записала его во всевозможные кружки и секции. Как и я когда-то, он стал центром ее надежд, ее новым проектом «воспитать гения». Она перечитала все свои старые книги со странными обложками и названиями, вроде «Детский интеллект: губка или фильтр?», или «Рацион будущего ученого», или «Мой сын гений! Что делать?», и снова повесила на холодильник таблицу приема витаминов группы В (для развития гиппокампа), йодосодержащих препаратов (для щитовидной железы) и – в обязательном порядке – морепродуктов (фосфор, калий – для мозговой ткани). Со мной все эти книжные методики и рационы не работали, поэтому теперь мама утюжила ими Егора. Я даже немного ему сочувствовал, я ведь знал, каково это. Это звучит ужасно, но иногда мне казалось, что она родила его только потому, что я не оправдал ее надежд, только потому, что мой гиппокамп, вероятно, отторгал витамины группы В, моя щитовидная железа не реагировала на йод, а на морепродукты у меня и вовсе была страшная аллергия.

Впрочем, надо признать, малек оказался гораздо более смышленным, чем мы с отцом. Он схватывал все на лету, уже в год и два месяца он говорил длинными предложениями и почти не картавил. Серьезно.

Когда ему было четыре, он однажды спросил:

– А что такое «туроператор»?

Мы все сидели за столом на кухне.

– А где ты это услышал?

– Это написано на холодильнике. – Он показал вилкой.

Мама бросила взгляд на отца. Тот обернулся и посмотрел на листок бумаги, красным магнитиком прикрепленный к эмалированной двери холодильника: «Курорты Черноморского побережья. Телефон туроператора: 86322...»

Уже в четыре года мой младший брат научился читать. Сам. Мама была счастлива – наконец-то ее методики и методички дали результат.

И все же без проблем, конечно, не обошлось. Егор был одарен творчески, но как любой, эмм, вундеркинд, в быту он был абсолютно беспомощен. Например, даже в семь лет, уже во вполне сознательном возрасте, он не умел завязывать шнурки. Его гибкие пальцы уже давно приручили клавиши рояля, он мог играть небольшие фрагменты из Баха и тем не менее был не способен завязать бантики на кедах. Поэтому родители покупали ему обувь на липучках. Он и внешне был похож скорее на персонажа из сказки или фантастической книжки – пронзительно-красивый, маленький и белобрысый. Помните, был такой фильм «Мидвичские кукушки»? Так вот, Егор был точь-в-точь как дети инопланетян из того фильма – только глаза не красные, а голубые.

Та же проблема с ориентированием на местности: за ним всегда нужен был глаз да глаз. Однажды он вышел на улицу поиграть с друзьями – и исчез. Никто не обратил внимания, куда

он пошел, мама была в настоящей истерике, я никогда не слышал, чтобы она так рыдала; все соседи вышли на поиски, с фонариками, прочесывали лесополосы, овраги, вызвали милицию. Егора нашли быстро. Он сидел на лавочке в двух кварталах от нашего дома и просто ждал, пока за ним придут. Когда его спросили, почему он просто не пошел домой, он ответил: «Я не был уверен, в какой стороне находится дом».

Топографический кретинизм – вот как это называется.

С тех пор мама стала очень нервной; если Егор опять чудил, норовил потеряться или выкинуть еще что-нибудь странное, то виноват в этом был я: «Ведь ты же старший брат!» Я был, в сущности, его телохранителем; и даже нянькой – водил его на все эти его кружки рисования, курсы фортепиано и обратно.

* * *

Мои уроки заканчивались в два. Заняться мне все равно было решительно нечем, друзей у меня не было, поэтому до шести я просто бездельничал, шатался по коридорам музыкальной школы и слушал протяжные, мучительные звуки, доносящиеся из кабинетов, в которых музицировали малолетки. То, что они играли, очень мало напоминало музыку, – скорее это походило на вопли музыкальных инструментов, словно их, инструменты, пытали каленым железом. Особенно больно, судя по всему, было скрипке – она рыдала, вырывалась и умоляла ее отпустить.

Егор учился по классу фортепиано всего год (он начал еще до переезда в Рассвет), но схватывал он все невероятно быстро, уже мог играть мелодии на слух – например, однажды я попросил его сыграть «Имперский марш» из «Звездных войн», и у него неплохо получилось, а вот заглавную тему из «Секретных материалов» он играть отказался, сказал, что она ему неприятна.

На стенах в коридоре висели портреты композиторов. Бетховену кто-то пририсовал стильные темные очки. К портрету Баха той же ручкой пририсовали револьвер (весьма неплохо, кстати, очень реалистичный получился, как у Клинта Иствуда) – дуло направлено прямо в висок композитору, перед фамилией приписка: «Ба-» – чтоб получилось «Ба-Бах». Оказывается, среди музыкантов тоже встречаются вандалы-остроумцы, любители портить портреты. Впрочем, возможно, автор этих художеств, как и я, просто заскучал, дожидаясь своего дурацкого, более талантливого младшего брата. В туалете на стене надпись: «Григ жив». И, кстати, туалет в музыкалке общий – для мальчиков и девочек. Не знаю почему. Возможно, музыканты просто выше всех этих условностей с половыми различиями.

Чтобы скоротать время, я достал из рюкзака тетрадку, стал вырывать из нее листы, комкал их и бросал в мусорную урну. С точностью у меня проблемы, поэтому очень скоро пол вокруг урны был завален белыми бумажными комками. Я так и не прибрался за собой – это был мой протест!

Вообще-то я не из тех, кто любит рисовать на стенах и мусорить, но... вы же понимаете: скука иногда способна довести нас до безумия. Когда часами без дела околачиваешься в полутемных коридорах, иногда хочется сделать какую-нибудь гадость, как-то отомстить этому месту за бездарно потраченное время. Я продолжал разглядывать портреты композиторов. Вот Рихард Вагнер. Взгляд у него был какой-то очень наглый и даже вызывающий, он словно смотрел на меня и говорил: «Ну и лох же ты, Петро, так и не смог научиться играть на рояле».

– Сам ты лох! – сказал я портрету и отвернулся.

Вдоль стен стояли ряды стульев. Сиденья у них были деревянные, и задница у меня через две минуты тоже стала деревянной. Настал момент, когда ни сидеть, ни стоять я больше не мог. И я решил прилечь.

А почему бы и нет? Вообще, мама говорит, что лежать на твердой поверхности полезно для позвоночника. А у меня, между прочим, сколиоз.

Ну, я и прилег.

Минуты две я разглядывал трещины на потолке, пока где-то над головой не раздался голос.

– Что ты делаешь?

Я подскочил так резко, что, кажется, потянул поясницу. Передо мной стояла девочка.

Очень. Красивая. Девочка.

В руках она сжимала стопку желтых листов. На плече – синий рюкзак.

– Почему ты лежал на полу? Тебе плохо?

– Я... эээ... – Мое лицо не просто горело, оно, кажется, дымилось от стыда. – Нет, мне не плохо. Просто я... – длинная пауза, – люблю полежать. Иногда. На полу. – Я показал пальцем на пол. – Тут паркет. Паркет – это дерево. А дерево – оно полезно для позвоночника. Так мама говорит.

«Браво! – сказал мой внутренний голос. – Ты просто превзошел себя! Это самое тупое объяснение из всех, что я когда-либо слышал; а я, давай признаемся, слышал их немало, я ведь живу в твоей голове».

Девочка осторожно разглядывала меня: так антрополог разглядывает дикаря.

– Ты странный, – сказала она.

– Ох, – я отмахнулся, – поверь, в моей семье я самый нормальный.

– В твоей семье все любят лежать на полу в общественных местах?

Я чувствовал, что сейчас скажу очередную глупость, поэтому молчал.

– Почему ты молчишь? – спросила девочка. Она убрала за ухо темную прядь.

– Эээ... – Я поднял палец, собираясь что-то сказать, но снова запнулся. Мой внутренний голос всегда был особенно жесток ко мне, когда я пытался разговаривать с девочками. Особенно с красивыми.

– У тебя такого никогда не бывает? – спросил я. – Вот ты хочешь что-то сказать и так сильно боишься сказать глупость и разочаровать человека, что просто молчишь, как дурак. Ну, то есть как дура. Ой, прости. – Я нервно размахивал руками, пытаюсь выразить свою мысль. – Моя мама называет это «внутренний цензор». Такой голосок внутри головы, твой самый жестокий судья, сноб, который тщательно следит за твоими словами, и высмеивает, и стыдит тебя всякий раз, когда ты лажаешь.

Разговор не клеился, девочка, кажется, уже пожалела, что вообще заговорила со мной.

«Давай, расскажи ей что-нибудь еще обо мне! – сказал внутренний голос. – Тогда она точно решит, что ты шизофреник».

В горле пересохло. Я поднял руки, как бы сдаваясь.

– Прости. Давай начнем сначала. Забудь, что я говорил про «внутреннего цензора».

– Нет-нет, я понимаю, о чем ты, – сказала она.

– Правда? – сказал я.

«Нифига себе!» – сказал внутренний цензор.

– Я тоже могу очень долго перебирать слова в голове, пытаюсь найти правильные. – Она улыбнулась и показала на висок. – И внутренний голос постоянно твердит, что я делаю это слишком медленно. Я думаю, это тоже можно назвать «внутренним цензором».

«Эй, а она мне нравится, – сказал мой внутренний цензор. – Спроси, как зовут ее внутреннего цензора? Она может нас познакомить?»

– Меня зовут Петро.

– Аня. – Она пожала мою руку. – Петро? Какое интересное имя.

– Ну, на самом деле «Петр», но все зовут меня «Петро».

Я рассказал ей, что жду здесь младшего брата.

– Он учится играть на фортепиано. И поверь, он гораздо страннее меня («Страннее? Нет такого слова!»). Например, он ест только круглую еду.

– Что? – Аня засмеялась. – Это как?

Мы шли по коридору в сторону актового зала.

– Ну, он любит овсяное печенье. Однажды мама купила ему целую упаковку, а он разрыдался и сказал, что не будет его есть. «Оно квадра-а-а-атное!» Орал, брыкался. И успокоился, только когда мама ножом аккуратно обрезала углы у всех печенек.

– Да, мой младший брат тоже все время чудит, – сказала Аня.

– У него тоже странные отношения с печеньками, да?

– Типа того. Он, как бы это сказать, с прибабахом. Не любит, например, когда его трогают за голову, поэтому не ходит к парикмахерам и стрижет себя сам. Выглядит это ужасно, но ему нравится. Вообще, он очень умный, уже все книги в доме перечитал, и у соседей тоже. Наша мама работает в архиве института, он и там, кажется, все папки перелопатил. И при этом у него совершенно нелепое, абсурдное воображение. Постоянно мерещится всякое. Преступления, заговоры, шпионы. Воображает себя детективом. Например, недавно он пытался мне доказать, что водонапорная башня за девятым домом – это на самом деле не водонапорная башня, а ракета «Фау-2», замаскированная под водонапорную башню. Это ужасно странно. Ну, то есть я понимаю, что ему тринадцать и все такое, и мама говорит, что в его возрасте это типа нормально, но я за него все равно беспокоюсь.

Она остановилась возле входа в актовый зал и показала большим пальцем за спину:

– Мне сюда.

– А что там?

Я заглянул внутрь. По сцене ходили мальчишки в смешных костюмах – в странных мундирах, с цилиндрами на головах. И декорация – огромный картонный Биг-Бен и, кажется, тот знаменитый Лондонский мост, который обычно рисуют на коробках с английским чаем или печеньем. Как он там называется?

– Мы репетируем. Играем пьесу. По Диккенсу. «Дэвид Копперфилд».

– А-а-а, Копперфилд? – Я закивал. – Пон-нятно.

«Угу, типа ты знаешь, кто это такой», – скептически сказал мой внутренний цензор.

«А вот и знаю!»

«И кто же?»

«Волшебник! Я по телику видел! Он прошел сквозь Великую Китайскую стену».

«Ты идиот, – вздохнул мой внутренний цензор. – Мне стыдно, что я живу в такой пустой голове».

– Он снова там, да, – спросила Аня, показывая на висок. – Твой внутренний цензор?

Я улыбнулся и кивнул.

– Можно я посмотрю, как вы репетируете? Я очень люблю «Дэвида Копперфилда».

Аня посмотрела себе за спину, потом в даль коридора.

– А разве тебе не надо забирать брата?

– Ой, – я посмотрел на свои наручные часы «Касио». – Едрена мать!

И бросился бежать.

– Пока! – Аня махала мне вслед.

* * *

Учителя алгебры звали Сергей Семенович, и его инициалы – СС – сыграли с ним злую шутку. Мы называли его Эсэсовец. И он действительно был похож на немецкого штандартен-фюрера: высокий блондин, всегда в черном, идеально выглаженном костюме, он ходил между партами, заложив руки за спину, как надзиратель.

Каждый урок начинался с того, что он проходил между рядами и проверял наличие всех необходимых предметов на партах: ручка (синяя), карандаш (наточенный; а если нет – он лично даст тебе точилку и будет молча стоять над душой, пока ты не наточишь карандаш; поверьте – это страшное зрелище; от такого у ученика начинают дрожать руки, он косячит с точилкой, нервничает еще больше, потеет и тихо доводит себя до нервного тика; я видел, как ученики падали в обморок, потому что не могли выдержать молчаливого взгляда Сергея Семеновича), ластик (чистый), линейка (30 см; именно 30 – и ни сантиметром меньше), тетрадка (в клеточку, открытая на чистой странице), дневник (закрытый, на углу парты), учебник (открытый на параграфе, который задавали на дом). Сергей Семенович больше всего на свете уважал порядок (и нефilterованное пиво, но сейчас не об этом). Если ученик забывал принести с собой ластик или положить на парту дневник, СС спокойно, но строго указывал ему на это, если ошибка повторялась – он указывал на дверь.

Он склонился над моей партой:

– Как вас зовут, молодой человек?

– Петр.

– Просто Петр? Или у вас есть фамилия?

– Да, есть. Портной.

Если твоя фамилия звучит как профессия – это всегда проблема. Людям может показаться, что ты издеваешься или – что ты не понял вопроса.

– Почему вы не собраны, Петр Портной? Что это за стопка?

– Это книжки из библиотеки. Я только что оттуда.

– А почему они лежат на парте?

– Извините, они не помещаются в рюкзак. Я не знаю, куда их деть.

Он еще сильнее склонился, навис над моей головой, как зловещий сталактит. Изо рта у него несло гнилой капустой, я задержал дыхание. Его ноздри были прямо надо мной: черные волосинки торчали из них, как лапки тараканов (и еще я подумал: «Странно: сам он блондин, а волосы в носу – черные. Разве так бывает?»).

– Вы знаете порядок. На парте должен быть только один учебник, – сказал он и двинулся дальше, вдоль ряда, заложив руки за спину.

– Но куда же я дену все остальные книжки?

Он замер, развернулся на каблуках и склонил голову набок:

– Вам что-то непонятно во фразе: «На парте должен быть только один учебник»? Разве у этого утверждения есть какой-то дополнительный смысл?

– Нет, но...

– Вот и уберите учебники.

– Но куда?

– Просто положи их на пол, не зли его, – прошептал Саша Грек.

Я молча стащил стопку книг и сложил их под стулом, оставив на парте только учебник по алгебре. Лицо у меня горело, подмышки взмокли, я чувствовал, как все вокруг смотрят на меня с недоумением. Как на дикаря.

– Вот и отлично. – Сергей Семенович хлопнул в ладоши. – Ита-а-а-ак. Ваши учебники открыты на странице тридцать два. Кто хочет зачитать определение, с которого начинается параграф? Есть добровольцы? Петр Портной, не хотите попробовать?

Я открыл учебник и начал судорожно листать страницы. По классу пробежала волна смешков.

Сергей Семенович сжалился надо мной – надо отдать ему должное, он выглядел как злодей, но, в сущности, злодеем не был – просто любил порядок:

– Я понимаю, что вы недавно перешли в этот класс, Петр. Не волнуйтесь. Давайте же, читайте. – Он тер переносицу большим и указательным пальцами. – Страница тридцать два.

Я бросил взгляд на страницу и уже хотел начать читать, но... не смог. Она была пуста. Страница. Белый лист. И следующая тоже. И та, что за ней.

– Вы испытываете мое терпение, молодой человек.

– Может, он не умеет читать? – донеслось с задней парты, и все захихикали.

– Здесь пусто, – сказал я.

– Что?

– Учебник. – Я поднял книгу повыше и показал ему страницы. – Он пустой.

– Да что ж это такое! – Сергей Семенович подошел ко мне, вырвал книгу и стал листать ее. – Вы что, издеваетесь?

Выражение на его лице изменилось – он смотрел на меня с негодованием и даже с возмущением, так, словно я намеренно злю его, словно я специально принес на урок пустой учебник или каким-то магическим образом заставил все буквы и цифры просто исчезнуть со страниц.

– По-вашему, это смешно?

– Я не...

– Вы, вероятно, считаете, что это отличная шутка. Хотите прослыть бунтарем?

– Но...

– Я уже слышал о вашей выходке на уроке Нины Петровны. Так вот, я хочу сказать вам, что со мной этот номер не пройдет.

– Но...

– Выйдите из класса.

– Да я же...

– Я сообщу о вашей выходке классному руководителю.

* * *

Вот так я заработал второй выговор за месяц. Меня оставили после уроков, мыть пол в кабинете алгебры. Никто даже не стал выяснять, как такое могло случиться. Учителя словно сговорились, они были уверены, что вся эта история с пустыми страницами – сознательный саботаж.

Я полоскал половую тряпку в грязном жестяном ведре и ненавидел их всех. Мне было ужасно жалко себя, хотелось плакать.

– Как ты это сделал? – спросил Миха.

Его тоже оставили после уроков, начудил чего-то на уроке физкультуры. Сейчас он вытирал пыль с подоконников, с листьев фикусов, поднимал горшки с кактусами и вытирал под ними.

– Сделал что?

За окнами темнело – уже почти семь вечера.

– Ну, пустой учебник. Это крутой трюк.

Я лишь устало выдохнул. В руках у меня была швабра с мокрой тряпкой на конце – и мне хотелось ударить его этой тряпкой по морде.

Вода в ведре очень быстро стала черной, как нефть. Сливать всю эту мерзкую жижу в раковину в подсобке нам запретили (засор). Слить ведро и набрать чистой воды можно было только туалете для мальчиков на первом этаже.

– Давай, я отнесу, – сказал Миха.

Его внезапная доброта удивила меня, я согласился, и только через десять минут, когда он не вернулся, я понял, что он попросту сбежал и оставил меня одного.

– Привет.

Я поднял взгляд. В дверном проеме стоял Грек.

– Привет.

– Я это, – он мялся на пороге, – про книгу хотел спросить. Ну, эту, с пустыми страницами.
– Клянусь, если еще хоть один раз услышу об этой книге, я начну убивать людей, – сказал я.

– Я просто хотел посмотреть на нее, – сказал Грек. – Она у тебя-нет?
– У меня. Вообще-то ее собирались отобрать, но, похоже, просто забыли в суматохе – были слишком увлечены выбором наказания. Мне еще и от родителей сегодня влетит.

– О, это отлично, просто отлично. Я бы хотел ее обменять.

Я выпрямил спину и отложил швабру:

– Обменять?

– Ну да. Тебе ведь она не нужна-нет? Давай договоримся: ты отдашь мне эту книгу, а я в качестве оплаты буду делать за тебя домашку по алгебре до конца года.

– Я не могу отдать ее тебе, это книга из библиотеки, – сказал я.

– А! – Он расстегнул рюкзак и достал свой учебник. – Возьми.

– А как же ты будешь?..

Он отмахнулся.

– Что-нибудь придумаю.

Он переминался с ноги на ногу и смотрел как будто на меня, но при этом избегал прямого зрительного контакта. Я давно заметил эту его странность: когда он разговаривал с вами, он смотрел не в глаза, а в воображаемую точку рядом с левым ухом собеседника. Смотреть в глаза он боялся.

Я разглядывал его, скрестив руки на груди. Мне стало любопытно.

– Ты ведь понимаешь, что я не отдам тебе эту книгу, пока ты не объяснишь, зачем она тебе.

Он поморщился так, словно ему вонзили иглу между ребер. Вся его поза, нервные движения рук, топтание на месте – все говорило о том, как тяжело дается ему этот разговор.

– Слушай. – Он вздохнул. – Я ведь отличную сделку предлагаю. Домашка по алгебре за весь год. Я шарю в цифрах, спроси кого хочешь, у тебя одни пятерки будут.

– Я тоже шарю в цифрах.

На лице его отразилось удивление, потом – досада, затем – скепсис.

– Серьезно?

– Да, мой отец – математик.

– Постой-ка. – Он почесал затылок и, кажется, впервые посмотрел мне прямо в глаза. – Ты же на первом уроке говорил, что он антрополог. Еще целую историю про пустыню рассказывал.

Я открыл было рот, но осекся. Грек заметил мое смятение и улыбнулся: теперь уже ему стало интересно.

– Я так и знал, – он сел на край парты, – что тут что-то не так.

– Это не твое дело, понятно?

– Понятно. – Он пожал плечами, – Конечно, понятно. Видишь, я не задаю лишних вопросов. И я обещаю: никто не узнает об этом. Но моя просьба остается в силе: ты отдашь мне свою пустую книгу?

Я был так зол, на себя – за то, что проговорился, и на него – за то, что он заметил мою оплошность, что просто огрызнулся:

– А если не отдам, то что, будешь шантажировать меня?

– Шантажировать? Ты дурак-нет? – Он убрал длинную челку с глаз. – Шантаж – это подло. И непродуктивно. Я бы никогда... да ну тебя. – Он схватил рюкзак, бросил в него свой учебник и вышел из кабинета.

Я взял швабру и вернулся к работе. Я уже почти закончил мыть пол, когда он снова появился в дверях.

– Я их собираю.

– Что?

– Книги. – Он переступил порог. – В смысле я собираю бракованные книги. Я называю их «книги-уроды».

– Книги-уроды?

– Ну да. Знаешь, так бывает, книгу сдают в типографию, и там что-то идет не так, и из пяти, скажем, тысяч экземпляров один получается не таким, как все. Либо строчки поехали, либо краска не того цвета, страницы склеились, нумерация их сбилась, еще бывают книги-перевертыши – это когда ты открываешь книгу, а там все вверх тормашками. Ну, то есть книга-урод – это книга с поврежденным текстом.

– И ты их собираешь.

– Ну да. Такие книги редко попадают в библиотеки или в книжные. Обычно их отслеживают и уничтожают. Такой вот геноцид книг.

– Я не знал этого, – сказал я (а еще я не знал, что такое «геноцид», но постарался запомнить слово, чтобы вечером посмотреть его значение в словаре).

– Да! – воскликнул Грек. По лицу его было видно, какое удовольствие ему доставляет рассказ о книгах-уроках. – Представляешь? Они уничтожают книги.

– Прямо сжигают?

– Не-а. Это как раз самое интересное. Я читал, что в СССР в подвалах стояли котлы с кислотой, и неудобные книги бросали в них, и они растворялись там.

– Жуть какая.

– Ага. Книжные концлагеря. – Он вдруг осекся, поняв, что уже слишком много наговорил, и вновь напустил на себя серьезности. – Так вот: если ты вернешь эту свою пустую книгу в библиотеку, ее уничтожат. Сто процентов.

Повисла тишина. За окном проехала машина «скорой помощи», красные блики сирен мелькнули на стенах.

– Ты странный, – сказал я.

Он лишь пожал плечами, как бы говоря: «Какой есть».

Я достал из рюкзака пустой учебник и вручил ему. Он с интересом стал листать его, разглядывая пустые страницы так, словно там были картинки.

– Невероятно, – прошептал он, потом поднял на меня взгляд и улыбнулся.

– Спасибо. Такой у меня еще не было. Это прямо какой-то учебник дзен-буддизма.

(Слово «дзен-буддизм» я тоже постарался запомнить, чтобы вечером посмотреть в словаре.)

– И сколько их у тебя?

– С этой – двадцать три. У меня теперь своя кунст-библиотека.

Он сунул учебник в рюкзак и протянул мне свой – нормальный, с параграфами, цифрами и формулами. Странно, но в тот момент я даже немного пожалел, что не оставил пустой учебник себе. Теперь, узнав о существовании «книг-уродов» и «книжных кислотных котлов», я понял всю ценность и уникальность экземпляра с пустыми страницами.

– А мой отец собирает табуретки, – вдруг сказал я.

Не знаю почему. В этой фразе не было никакого смысла, мне просто захотелось чем-то поделиться с Греком – пусть самой маленькой тайной.

– Какой из них? Антрополог или математик? – спросил он и засмеялся, потом поднял руки, как бы сдаваясь. – Да шучу я, шуткую. Прости, не смог удержаться.

Я рассказал ему о странном хобби отца: о совершенно одинаковых табуретках, которые он день за днем собирал в своем гараже. К моему удивлению, табуреточная история привела Грека в восторг.

– Это ужасно круто, – сказал он.

Я не решился спросить, почему он так считает, и все же – он был первым человеком, который на полном серьезе назвал моего отца «крутым». И я не хотел портить это ощущение.

– Эй, молодежь, – в дверях появилась голова охранника, – вы скоро? Уже шесть, я должен закрыть кабинет.

Меня вдруг бросило в пот. Шесть часов. Егор!

* * *

Музыкалка располагалась по ту сторону площади Четырех Елок. Через четыре минуты я уже бежал по коридору с портретами композиторов.

Кабинет был открыт, я заглянул внутрь. Галина Викторовна сидела за учительским столом и заполняла журнал. Она посмотрела на меня поверх своих круглых, как у Джона Леннона, очков (прическа у нее, кстати, тоже вполне джонленноновская – это мама так сказала).

– Петро? Здравствуй.

– Егор! – сказал я, озираясь. – Где он?

– Я думала, он с тобой. – Она бросила взгляд на часы, висящие на стене, над дверью. – А разве ты не?..

Я выбежал из кабинета и оглядел ряды стульев вдоль стен. Никого.

Рядом стоял Грек, он прибежал сюда вместе со мной (позже, когда я спросил у него, зачем он последовал за мной в музыкальную школу, он лишь пожал плечами и сказал: «У тебя было такое лицо, что мне самому стало страшно, вот и побежал за тобой. Отчасти, конечно, это было еще и любопытство, веришь-нет?»).

Я бегал по коридорам, заглядывал во все кабинеты и спрашивал у каждого встречного, видел ли он (или она) маленького, худого, белобрысого мальчика с синим рюкзаком. Люди качали головами, моя паника нарастала.

Я рассказал Греку о причудах своего брата, о его «топографическом кретинизме» и полной беспомощности. И он теперь со мной бежал по этажам, даже спустился вниз, к выходу, и спросил у вахтера, но вахтер – старый лысый дядька, лицо которого выглядело так, словно бог начал лепить его из глины, но разочаровался в замысле и бросил на полпути, реально недоделанное лицо, я не шучу, какой-то черновик лица, – сказал лишь, что мимо него прошли десятки детей с синими рюкзаками, и он, видите ли, не обязан всех помнить.

Я как безумный носился по коридорам и кричал: «Егор! Егор!» – люди, едва завидев меня вдалеке, прижимались к стенам.

В какой-то момент на лестнице я столкнулся с двумя пацанами из театрального кружка. Они были в сценических костюмах – в сюртуках, цилиндрах, с тростями.

– Привет, – сказал один из них. – Мы проверили пятый этаж, его там нет.

Я замер на месте.

– Мы помогаем искать Шопена, – сказал второй. – Грек попросил нас.

Через минуту коридоры наполнились диккенсовскими персонажами – ребята из театрального кружка помогали искать моего брата. Но его нигде не было. Мы все собрались возле раздевалки на первом этаже. Мальчишки и девчонки стояли полукругом, облаченные в костюмы Викторианской эпохи. В любой другой ситуации я бы оценил иронию, но не сейчас.

Мы все беспокойно переглядывались. Я увидел Анну – и без слов понял, что тот странный младший брат, о котором она мне рассказывала, и есть Грек, и именно он попросил ее о помощи.

Она молча кивнула мне.

– Так, народ. – Парень в костюме мистера Микобера деловито хлопал в ладоши, пытаясь привлечь внимание, и жестикулировал, как регулировщик на оживленном перекрестке. –

Шопен не мог уйти далеко. Школу мы прочесали, его тут нет. Надо прочесать улицу. Надо поделить территорию на квадраты.

– У Миши батя – милиционер, – тихо сказал мне Грек, кивнув на «мистера Микобера». – Он знает, как надо искать людей.

Я хотел что-то ответить, но почувствовал, что не могу выдать ни слова – сердце жужжало внутри, билось о ребра, словно огромная муха об оконное стекло. Мы вышли на улицу, все это было похоже на дурацкий сон: персонажи Диккенса помогают мне искать моего потерявшегося брата. Дикость какая. Я даже слово придумал: диккенсть!

В тот вечер я впервые в жизни по-настоящему испугался. По-настоящему. Я не боялся наказания, нет, я боялся, что больше никогда не увижу Егора. Мама однажды рассказала мне, как цыгане крадут маленьких детей, гипнотизируют их, подсаживают на наркотики, превращают в рабов, выгоняют на улицу и заставляют попрошайничать. Иногда этих похищенных детей калечат, выкалывают им глаза или ломают ноги, чтобы они, эти маленькие инвалиды, вызывали больше жалости у прохожих и чтобы прохожие давали им больше милостыни. Я никогда особо не воспринимал всерьез мамины рассказы, мне казалось, что у нее просто какие-то предрассудки против цыган и она выдумывает все это, чтобы запугать меня, чтобы я внимательней следил за мальком, но теперь, блуждая по тускло подсвеченным улицам Рассвета, я не мог выбросить жуткие образы из головы. Я закрывал глаза и мысленным взором видел, как огромный, жирный, волосатый цыган, обвешанный золотыми цепями, хватает моего брата за шкуру и тащит в свой старый, покрытый ржавчиной, как экземой, микроавтобус. В моем воображении похититель был похож на Кинг-Конга из мира хип-хопа, гигантское чело-вечкоподобное чудовище. Такой вряд ли умел разговаривать.

Мы с Греком бежали по Садовой улице, вдоль кладбища, звали Егора, и я живо представлял себе, как этот цыган гипнотизирует моего брата, заманивает в свой микроавтобус, увозит к себе домой и уже там, дома (в каком-нибудь вонючем сарае), обкалывает наркотиками, калечит, выгоняет на улицу и заставляет просить милостыню где-нибудь в подземном переходе.

От одной этой мысли мне становилось тошно. Отвратное ощущение, словно вот-вот вырвет, но ничего не происходит – и тошнота копится внутри. Время шло, мы бегали по перекресткам, и я уже потерял всякую надежду. Нос заложило, я дышал через рот, в горле пересохло, зубы ломило от холодного воздуха.

Мы добежали до черешневого сада за гаражами и свернули в сторону белой стройки. Там мы встретились с Аней и с мальчишкой в костюме лондонского бродяги. В тусклом желтом свете фонаря я не сразу разглядел их лица. Они улыбались.

– Миша нашел его! Нашел!

До меня не сразу дошел смысл их слов.

– Где?? – спросил Грек.

– Они сидят на лавочке, на площади Четырех Елок, возле музыкалки.

Ребята смотрели на меня, ожидая реакции. Я ощутил облегчение: значит, никакой цыган не крал Егора, не калечил его и не заставлял попрошайничать в подземном переходе! И в то же время, когда стало ясно, что брату ничего не угрожает, я почувствовал невероятную злость. И жалость к нему сменилась желанием хорошенько отметелить этого белобрысого беспомощного болвана за то, что он заставил меня пережить.

Но когда мы вернулись на площадь и я увидел Егора, сидящего на лавочке, рядом с Михой, я, кажется, впервые увидел его настоящего и понял, насколько он незащищен. Я и раньше знал, конечно, что он слабый, но в тот момент я понял кое-что другое: он всегда выглядел так, словно на нем было написано «Осторожно, хрупкое». И люди, все люди, каким-то образом, подсознательно, чувствовали это. Мальчишки никогда не задирали его, взрослые не повышали на него голос; парадокс: эта аура незащитности служила для него чем-то вроде защитного механизма.

– Прости меня, пожалуйста, – сказал он, когда я подошел. – Я не хотел, чтобы у тебя были проблемы.

Я хотел обнять его, но сдержался – не стоит разводить телячьи нежности на глазах у пацанов.

– Сам-то цел?? – спросил я, имитируя строгий тон Старшего Брата.

– Це-ел, – ответил Миха за него.

– Где ты его нашел?? – спросил я.

– Тут и нашел. Он на лавочке сидел. Говорит, какой-то старик привел его сюда.

– Какой старик?

Мы все посмотрели на Егора, он пожал плечами.

– Я не знаю. Он не сказал, как его зовут. Я просто попросил его отвести меня к музыкальной школе, и он отвел.

Я устало тер переносицу пальцами.

– Егор, я обещаю, что не буду злиться, но ты можешь объяснить мне, почему ты ушел, почему не дождался меня?

– Ну, – он посмотрел на меня снизу вверх, – тебя долго не было, я думал, ты потерялся, и решил пойти поискать тебя.

Мальчишки рассмеялись. Они думали, он шутит, и только я знал, что он это всерьез: Егор не умел понимать иронию³. К тому времени все ребята из театрального кружка собрались вокруг лавочки. Все были очень горды собой, они называли Егора «Шопеном», спрашивали, как у него дела, и только тут я понял, что в стенах музыкалки мой брат был действительно известен и даже популярен.

– Так, а где он тебя нашел-то, этот дед?

– Я не знаю. Я помню деревья. И еще большой серый камень, на нем были числа. Один, два, четыре, пять. А тройки не было. Я еще подумал, что это странно, что нет тройки. А потом я увидел старика, с ним была собака. Большая, мохнатая.

* * *

– Петро, ты злишься?

Мы шли домой, я крепко держал Егора за руку. Даже слишком крепко. Словно боялся, что он опять пропадет, провалится сквозь землю, стоит мне отвлечься на секунду.

– Нет. Не злюсь. – И после паузы. – Самую малость. Чутьочку. – Еще пауза. – Да, злюсь. О чем ты думал вообще? Как я теперь маме это объясню? Она меня в духовку запихнет и поджарит.

– Ну, мы ведь можем ничего ей не говорить.

– Мы можем, да. Но она ведь все равно узнает. И тогда крику будет еще больше. Мы ведь всю музыкалку на уши поставили, пока тебя искали.

* * *

И все же у этой истории с исчезновением были свои плюсы: на следующий день ребята в школе встретили меня как своего. Все делились впечатлениями от вчерашней поисковой операции, рассказывали смешные истории. Первые два месяца в новой школе я был изгоем, я ходил по коридорам, и на шее у меня словно висела табличка «пни меня», теперь же я вдруг стал своим, у нас была общая история, и во время большой перемены в столовой, когда я

³ Это вранье, я всегда умел понимать иронию. И в тот момент это была шутка. – *Примечание Егора.*

шел с подносом по проходу, Миха предложил мне сесть с ним и с его друзьями из 9-го «Б». Он был самым крутым в школе – сын милиционера, выдающийся спортсмен, гордость школы. Ходили слухи, что в театральный кружок он записался только из-за Ани, сестры Грека, чтобы впечатлить ее; он давно и безуспешно клеится к ней.

(«У него нет никаких шансов, – уверенно сказал Грек, когда я как бы между делом спросил его об отношениях Ани и Михи. – От него воняет».

«В смысле?»

«В прямом. Ты не замечал? От него воняет псиной. Даже после душа. Плюс эта экзема на шее, которую он чешет прям по-собачьи. – Он показал, как Миха чешет свою шею – вышло очень похоже. Действительно, как собака. – И еще во время пробежек, когда устает, он высовывает язык, прям как овчарка. Есть у меня подозрение, что в роду у него были не только люди».)

На следующий день после уроков, выходя из школы, я наткнулся на Грека. Он сидел на ступеньках и ждал меня:

– Эй, дело есть! Хочу кое-что спросить у твоего брата. Насчет вчерашнего.

– А что насчет вчерашнего?

– Он говорил про камень с числами. Мне капец как надо узнать, где он его видел.

– Ничего не выйдет, – сказал я.

– Да брось. Всего пара вопросов.

– Ты не понял, я не запрещаю тебе, я пытаюсь сказать, что это бесполезно.

– Почему?

– У него проблемы с этим... с географией. Он даже в трех осинах может заблудиться.

– В трех соснах.

– Что?

– Правильно говорить: в трех соснах.

* * *

Прозвенел звонок, и дети высыпали из кабинетов. Егора я ждал прямо у двери. Стоило ему появиться, как Грек тут же кинулся к нему, вытащив из кармана какую-то фотографию. Он вел себя как частный детектив из нуарного фильма – сразу же вошел в роль, даже воротник куртки поднял.

– Егор, мне нужно задать тебе пару вопросов. Скажи, ты знаешь этого человека?

Егор вопросительно посмотрел на меня, я пожал плечами и кивнул, мол, можешь отвечать.

– Это ведь он вчера помог тебе, я прав-нет?

– Не бойся, – сказал я, – просто ответь ему, и мы пойдем домой.

Егор, щурясь, посмотрел на фотографию.

– У него здесь больше волос на голове. У того их почти нет.

– Но это ведь он, да-нет?

Мой брат кивнул, и выражение лица у Грека стало медленно меняться – сперва он словно не поверил своим ушам, потом сам посмотрел на фотографию и заулыбался так, словно выиграл подарочный набор ножей в «Магазине на диване».

– Я знал, – тихо сказал он и чуть громче, немного удивленно: – Я был прав!

Я выхватил у него карточку и тоже посмотрел на нее.

– Кто это?

– Осторожно. – Грек отобрал у меня фотографию. – Это из архива, ее нельзя так хватать. Пойдемте, я кое-что вам покажу, вы офигеете! Просто офигеете!

* * *

– Я знаю, что тебе Аня обо мне рассказала. – Мы вышли на площадь Четырех Елок и направились в сторону Сельскохозяйственного института. – Она сказала, что я чокнутый, да? Сказала, что я «с прибабахом», – он изобразил пальцами кавычки, – что я от нечего делать придумываю загадки и тайны и сам их потом решаю. Но это! Это я не придумал. – Он похлопал по карману, где лежала фотография.

– Что «это»?

Мы остановились возле входа в институт. Там на огромном стенде висела подробная карта Рассвета, со всеми домами, полями, холмами и оврагами.

– Вы читали рассказ Эдгара По «Письмо»? – Грек повернулся к нам, дернул головой, откинул челку с глаз.

– Н-н-нет, – признался я.

– О, это гениально! Там есть такой детектив, Огюст Дюпен! И он расследует дело, ему надо найти письмо, спрятанное в доме у одной дамы. Полицейские шпики обыскали весь дом, даже ножки стола просверлили, хотели найти тайник. Они даже подушки иглами протыкали, чтобы найти там это письмо. И все равно не нашли! А знаешь почему?

– Почему?

– Потому что они идиоты! – Грек развел руками. – Они забыли проверить самое очевидное – стол. И только Огюст Дюпен был достаточно умен. – Он постучал мизинцем по виску. – Он сразу нашел письмо, оно как ни в чем не бывало лежало прямо на рабочем столе, веришь-нет?

Мы с Егором молчали.

– Так вот, о чем это я? С Рассветом то же самое. Самая большая тайна Рассвета – здесь, – Грек ткнул пальцем в карту, – прямо у всех под носом. Но никто ее не замечает. Люди слишком ленивы. Приглядитесь, не замечаете ничего странного?

Мы с Егором минуты две разглядывали карту.

– А что мы должны увидеть?

– Хороший вопрос. – Грек потирал ладони. – Вы ведь недавно переехали сюда, вы ходили на четвертое озеро?

– Ну да.

– Можешь показать его на карте?

Я ткнул пальцем в северо-западную часть карты.

– Угу. А сколько всего озер в округе, ты знаешь-нет?

Я окинул карту взглядом и сосчитал.

– Раз, два, три, четыре... ммм... все.

Грек улыбался все шире, как фокусник, готовый вытащить из рукава двух лебедей, трех енотов и одного жирафа.

– Правильно. Их четыре. А теперь посмотри, как они называются.

Я начал было искать названия, но Егор меня опередил.

– Третьего нету, – сказал он.

– Правильно! – Грек вскинул руки. – Правильно! – Он поднял с земли прутик и стал водить им по карте, как учитель указкой по доске. – Вот первое озеро. Оно так и называется «Первое озеро». Вот второе. И тут написано: «Вто-ро-е о-зе-ро». А вот, если считать по порядку, третье. И как оно называется?

– Четвертое, – прочитал я и тут же стал водить глазами, стараясь отыскать еще одно озеро.

– Не старайся, – сказал Грек, разломив прутик об колено. – Его нет. Третьего озера нет.

Я перевел на него взгляд:

– А почему?

Он сломал прутик.

– Дело, достойное Огюста Дюпена, я считаю. Я спрашивал у взрослых. Никто не знает, почему после второго озера идет четвертое. И никто не знает, было ли вообще третье, люди просто привыкли к тому, что озера так названы. И никто никогда не задумывался, почему. – Он усмехнулся. – Люди очень любят ныть, что все вокруг ужасно банально и скучно, но никто ни разу даже не попытался выяснить, что случилось с Третьим озером. А ведь это невероятно интересно.

* * *

Мы шли домой по Институтской улице. Я крепко держал Егора за руку (боялся потерять). Грек шел рядом, сунув руки в карманы своей зеленой брезентовой куртки почти по локти. Куртка была сильно велика ему, особенно в плечах, она явно раньше принадлежала взрослому, но кто-то неудачно и неумело перешил ее для подростка.

– Я должен найти этот камень, – сказал он, глядя на Егора, – с числами. Тот старик, который вчера нашел тебя и привел обратно, к школе, я думаю, он все знает.

– С чего ты взял? – спросил я.

Грек искоса посмотрел на меня и рассмеялся.

– Что, все так же считаешь, что я «с прибабахом», а?

– Ну, мне просто интересно.

– «Просто интересно»? Ха, да у тебя глаза сейчас лопнут от любопытства!

Мы шли через небольшой продуктовый рынок. На этой неделе открылась ярмарка меда. За прилавками стояли огромные тетки в желтых фартуках с пчелами и много-много-много стеклянных банок с янтарной жидкостью – липовый, сосновый, самый разный, жидко-прозрачный, желто-белый, сахарный. Тут были даже банки с сотами.

– Я хочу меду, – сказал Егор.

– Мы скажем маме, она купит, – ответил я.

– Не люблю мед, – буркнул Грек. – Я недавно узнал, что мед – это блевотина пчел.

– Что? Фуууу, – Егор сморщился, – это неправда!

– Правда-правда, я по телику видел, «В мире животных». Пчелы едят пыльцу с цветов, а потом прилетают в улей, заходят в хранилище меда и суют себе два пальца в рот. – Грек сунул два пальца себе в рот и издал характерный звук. – И вот так получается мед: по сути, это полупереваренная пыльца и желудочный сок пчел, веришь-нет?

Мне тоже, как и Егору, было неприятно это слушать. «Этот чувак точно не дружит с головой», – подумал я, а вслух сказал:

– Перестань. Егору шесть лет, не надо ему такое рассказывать.

– Какое «такое»? – Грек развел руками. – Ты что думаешь, я это придумал, что ли? – Он повернулся к одной из продавщиц и громко сказал: – Здравствуйте.

– Здравствуйте, – отозвалась она. Огромная шарообразная тетка. Две толстые черные брови-гусеницы над глазами, и еще одна – под носом.

– Вы ведь свой собственный мед продаете? Ну, то есть у вас же есть собственное пчелиное пастбище или вроде того?

– Это называется «пасека», – кивнула она. – Да, мой муж – пчеловод.

– А это правда, что мед – это блевотина пчел? Они ведь едят пыльцу и потом блюют ею, верно-нет?

Мы с Егором внимательно смотрели на нее, ожидая ответа. Ее брови беспокойно задвигались и столкнулись на переносице, слились в одну жутковатую бровь.

– Э-э-э-э... «выблевывают» не совсем то слово. Они ее скорее сплевывают.

Грек повернулся к нам.

– Ха! Ясно вам, невежды? – Мы двинулись дальше. – Вот так всегда, – продолжал размышлять он. – Люди считают, что я «с прибабахом» и вообще чокнутый, а на самом деле я просто умный.

– И скромный.

– Да, и это тоже. – Он потер ладони. – Ну так что? Тебе интересно узнать, что случилось с Третьим озером, или нет?

* * *

Да, мне было интересно. Честно говоря, ужасно интересно.

Я отвел Егора домой – это было нелегко, он долго сопротивлялся, хотел пойти со мной, пришлось силой затаскивать его в квартиру и терпеть его высокочастотное нытье⁴. К счастью, мама была уже дома и взяла все под контроль.

Грек ждал меня у подъезда.

– Идем, – сказал он.

– Куда?

Мы дошли до почтамта и спрятались за раскидистым кустарником неподалеку.

– Зачем мы прячемся?

– Сколько времени?

Я посмотрел на свои «Касио»:

– Семь сорок пять.

– Отлично. Он вот-вот придет.

– Кто?

– Осторожней с кустарником. Это барбарис, колючая зараза.

– Кто придет-то?

Он указал пальцем вдаль. Я бросил взгляд в конец улицы и увидел старика. Того самого, что и на фотографии, только гораздо старше. Худой, сгорбленный, лысый, с бородой и кривой тростью – старик был не похож на живого человека. Гораздо больше он напоминал аллегория – такой собирательный образ старости. Каждая его черта, каждая морщина, каждый предмет одежды – все в нем как бы говорило: «Я символизирую старость». Старик медленно приближался ко входу в здание почты, затем остановился возле голубого почтового ящика с надписью «Почта» и почтовым гербом.

– Чего он ждет? – спросил я.

– Смотри.

Дверь почтового отделения открылась, и на улицу вышел человек в сером комбинезоне с большим серым мешком в руках. Он увидел старика, они кивнули друг другу. Старик достал конверт из внутреннего кармана пиджака и бросил его в голубой почтовый ящик. Они с почтальоном перебросились парой реплик. Почтальон открыл ящик и ссыпал в него письма. Затем запер ящик на ключ и запечатал мешок.

Старик захромал обратно в темноту.

* * *

Признаться, я чувствовал разочарование. Когда Грек сказал, что мы будем «проводить расследование», я представил себе почти киношную картинку – погони, тайные заговоры,

⁴ Пошел в жопу! – *Примечание Егора.*

дедуктивный метод, как в сериале про Шерлока Холмса с Василием Ливановым в главной роли. На деле же мы просто весь вечер просидели в кустах, ожидая какого-то дряхлого старика с дурацким письмом.

И все.

Мы шли по улице к моему дому. Темнело, и воздух наполнился холодом – влажным и колким. Мы выдыхали пар. Грек шел, нахохлившись, накинув на голову капюшон, он почти по локти засунул руки в карманы своей огромной зеленой куртки.

– Вот тебе и тайна. Этот старик приходит на почту и бросает письмо в ящик каждый вечер. За три минуты до того, как почтальон выйдет, чтобы ссыпать письма в мешок. Старик специально делает это, так у него есть гарантия, что письмо никто не перехватит.

– И что там, в письмах? – Я пнул шишку.

– Не знаю. Это и есть тайна.

Минуту он шел молча, иногда вынимал руки из карманов и дышал на ладони, пытаясь согреться. И вдруг зарядил дождь, да так, что нам пришлось спрятаться под козырьком закрытого продуктового магазина.

– Ты ведь что-то знаешь об этом старике, да? Откуда у тебя та фотография?

– Моя мама работает в архиве.

Он смотрел на ровные струи воды, стекающие с рифленого козырька. Подставил руку под одну из струй.

– И? – спросил я.

Он, щурясь, смотрел на меня.

– Он в Рассвете – с сорок четвертого года. Был на войне, получил ранение. Он был одним из ведущих специалистов в местном сельскохозяйственном институте. Он знает об этих озерах все. Он их проектировал. Это ведь искусственные водоемы.

– И почему ты думаешь, что он что-то нам расскажет?

– Ну, есть только один способ выяснить.

– Какой?

– Спросим у него.

– «Спросим»? Мы?

– Ну да. Ты же хотел поучаствовать в расследовании-нет? Опрос возможных свидетелей – это важная часть любого расследования.

– Хорошо, но как ты собираешься спросить у него про озера?

Он пожал плечами:

– Вежливо.

* * *

И все же Грек меня заинтриговал. Всю ночь я не мог уснуть – все думал об этом озере. Куда оно пропало? Неужели можно вот так просто взять и заставить исчезнуть целое озеро? А что, если его украли? Да ну, чепуха, разве можно украсть целое озеро? Озеро – это не бумажник, его нельзя просто так сунуть в карман и уйти.

Грек не просто играл в детектива. Он, кажется, «жил в детектива», полностью вживался в эту роль. Любил загадки, ребусы. И если не находил их – то просто выдумывал, чтобы хоть как-то развлечься. На скучных уроках мы с ним обменивались записками. Учителя иногда эти записки замечали и отбирали у нас – выходило неловко, особенно если мы писали гадости про учителей.

Тогда Грек придумал систему шифрования. По сути, это был просто листок в клеточку с двумя столбцами букв: первый – кириллический алфавит, второй – набор выдуманных символов, стилизованных под язык Хищника из одноименного фильма с Шварценеггером.

Его система вряд ли стала бы проблемой для Алана Тьюринга, но учителей она вводила в ступор – и мы могли спокойно переписываться на уроках на своем «хищниковском» языке, не боясь разоблачения.

А еще у него было тайное убежище – водонапорная башня в поле за девятым домом.

Башня торчала посреди кукурузного поля, как ракета, готовая к пуску. Высокая, чуть покосившаяся, обшитая проржавевшей жестью. На двери висел огромный висячий замок в форме львиной головы. Грек позвенел связкой ключей и сунул один из них в пасть льву, тот звякнул и впустил нас.

– Откуда у тебя ключи? – спросил я.

– Места знать надо.

Мы поднялись вверх по кривой винтовой лестнице. Грек включил маленький ручной фонарь.

– Не смотри вниз, – сказал он мне.

– А куда там смотреть? Не видно ж нифига.

– Все равно не смотри.

Мы поднялись на вершину башни. Он толкнул дверь, и мы вошли в машинное отделение. Здесь было светло и тепло, солнце прогревало жесть и сочилось сквозь небольшое пыльное окошко. Вдоль стен тянулись трубы разного диаметра и степени изношенности, плюс – куча кранов, вентилях и прочей гидротехнической лабуды.

– Смотри.

Грек гордо указал на стену, где висела огромная карта Рассвета, на ней – куча пометок, разноцветных флажков. Прямо как в кино про детективов. Не думаю, что все эти флажки и пометки действительно что-то значили, скорее всего, Греку просто нравилось копировать киношных детективов, а ведь все мы знаем, что у любого киношного детектива должна быть специальная стена, завешанная картами, планами и фотографиями. Именно такую стену соорудил себе Грек.

– Круто, а? Это наш штаб. Здесь мы будем встречаться и обсуждать повестку дня. – Он сразу преобразился, вошел в роль, стал говорить медленно и серьезно. – Давай я покажу тебе наш тайный знак. – Грек подошел к окошку и распахнул его. – Смотри, эта башня – самая высокая точка в поселке. Ее видно отовсюду. Я могу видеть ее из окна своей комнаты, а ты – из окна своей. Вот. – Он поднял с пола красный шарф, выглянул в окно и привязал шарф к обрезку трубы, торчащему прямо из стены. – Это будет наш тревожный сигнал.

– В смысле?

– Ну, например, сидишь ты дома такой и вдруг выглядываешь в окно и видишь, что к трубе на башне привязан красный шарф. И ты сразу поймешь: что-то случилось, я жду тебя в штабе. Это такой позывной, понимаешь?

– Да, но... – Я почесал затылок. – Почему бы просто не позвонить?

Он устало вздохнул:

– Потому что телефон могут отключить или он может быть занят. Или, еще хуже, нас могут прослушивать.

– Кто?

– Ну не знаю. Спецслужбы. Короче, техника может подвести, но это, – он указал на шарф, трепыхающийся на ветру, – это будет нашим секретным кодом. Это значит: «Нам надо поговорить».

– Хорошо, понял.

Он протянул мне бинокль.

– Отсюда даже дом старика видно, вот, смотри. – Он протянул мне бинокль. – Видишь-нет?

– Ага.

- Туда мы и пойдем. Говорить буду я, ты просто кивай.
- Угу.
- И когда мы пойдем к нему? – Я вернул бинокль Греку, он осторожно закрыл его окуляры крышками.
- В полвосьмого.
- Почему так поздно?
- Он смотрел на меня как на идиота.
- Потому что в восемь он пойдет на почту, не тупи, ради бога.
- Я кивнул так, словно понял замысел.
- Легенда такая, – сказал он. – Нам задали написать доклад по истории родного края, и мы такие, значит, решили написать об основании нашего достославного института.
- Погоди, какого института? Я думал, он сельскохозяйственный.
- Так, не отвлекайся. Сначала спросим старика о жизни, и все такое, а потом я такой как бы случайно спрошу про озеро. – Он посмотрел на меня. – Понял-нет?
- Понял.
- Деньги взял?
- Да.
- Идем. Надо купить торт.
- Зачем?
- Мы же идем в гости. Никто не ходит в гости без торта. Это невежливо.

* * *

Наконец впереди показались свинарники. Длинные, грязные, затертые здания. Коричневые, похожие на огромные прямоугольные какашки. Вообще-то еще в прошлом месяце тут было три свинарника, но один из них сгорел. Со всеми свиньями внутри... Говорят, это было ужасно – свиньи горели заживо и визжали, и визг их был похож на человеческие вопли. И запах. Запах паленого мяса. Жители пытались помочь – кто-то сорвал замок с двери, открыл загон, и свиньи вырвались наружу – горящие, живые факелы – и бегали по заснеженному полю, визжа и сталкиваясь, разбрасывая искры, как медленные, полные боли шаровые молнии. И так и падали замертво, прямо в снег и горели-горели-горели-горели. Я сам не видел этого, но то, что мне рассказывали, ужасно. Мне очень долго потом снились кошмары – я видел их, этих свиней, они горели и просили о помощи, но я не мог помочь, потому что в том сне я жил в мире, где воды не существует.

Теперь на месте сгоревшего свинарника – пепелище. Только сваи торчат из земли и одна стена.

Мы подходили к дому старика: кирпичный коттедж, два маленьких окна, похожие на подслеповатые, старческие глаза. Стекла в них грязные, мутные – словно подернутые подступающей глаукомой.

Рядом с домом – большая клетка, а в ней Фарадей, огромный пес, помесь кавказской овчарки, самоедской лайки (и, возможно, лернейской гидры). Огромный, седой. Шерсть в колтунах.

– Не бойся. Он взапелти. А лаять он не умеет, – сказал Грек.

Я это знал. О Фарадее у нас тоже слагали легенды. Пес то ли родился без голосовых связок, то ли потерял их после операции. Пацаны говорили, что сам Косарь вырезал псу «гав-калку» специально, чтобы превратить собаку в идеальное оружие. Фарадей нападал неожиданно и тихо. Говорят, он даже бежит беззвучно, мол, лапы его не касаются земли. Пес-ниндзя.

Мы поднялись на крыльцо, и Грек постучал в дверь. Я озирался на клетку с Фарадеем. Пес спокойно лежал в тени, положив свою огромную голову на скрещенные лапы.

Дверь долго не открывали. Из дома раздавались голоса.

– У него гости?

– Нет. Это радио. Он всегда его слушает.

Я заметил, как на одном из окон дернулась шторка. Он наблюдал за нами откуда-то из темноты.

– Улыбнись, – шепнул Грек. – Он смотрит, а ты выглядишь так, как будто тебя на эшафот ведут.

Я попытался изобразить на лице подобие улыбки (и мысленно отметил слово «эшафот», чтобы сегодня вечером, перед сном посмотреть его значение в энциклопедии).

Грек постучал еще раз – громко и настойчиво.

И снова тишина.

– Похоже, он не хочет открывать, – сказал я.

– Возьмем измором.

– Что?

Он демонстративно закатал рукава и начал стучать ладонями по двери, как африканский барабанщик – отстукивал какую-то мелодию. Старая разохшаяся дверь задребезжала, ржавые петли дрожали. Грохот был столь оглушителен, что даже пес, Фарадей, вскочил на все четыре лапы и стал беспокойно бродить вдоль прутьев клетки, не сводя с нас взгляда.

Сердце мое бешено билось в груди, я уже был готов бросить этот дурацкий вафельный торт и бежать – черт с ним, с Третьим озером, я хочу жить!

И вдруг – дверь распахнулась. Так резко, что Грек еще пару раз по инерции ударил по воздуху.

– Ой, – сказал он, глядя на старика снизу вверх. Руки его зависли в воздухе. – Здравствуйте.

– Хочешь сломать мою дверь? – спросил старик.

Я думал, он будет в ярости, но, как ни странно, на лице его не было никаких признаков недовольства, только усталость. Он спокойно разглядывал нас – так, словно был уверен, что мы ошиблись адресом.

– Нет, вовсе нет. Тут понимаете, какое дело. – Грек чесал затылок. – Мы получили задание в школе: написать доклад по истории. Тема: «История родного края».

– И при чем здесь я?

– Ну, как. Вы же старый. – Он обвел старика взглядом. – То есть, в смысле, мудрый. А еще вы всю жизнь проработали в институте. Институт сегодня работает только благодаря вам, нет?

– Мне? – Старик склонил голову набок. Нахмурился, брови у него были густые, волосы в бровях такие длинные, что аж завивались немного. Теперь он смотрел на нас с негодованием, словно мы ворвались в его дом и рылись в его личных вещах. – С чего вы взяли?

– Моя мама работает в архиве, – сказал Грек. – Я помогал ей перебирать бумаги.

– А. – Старик задумался, потом снова посмотрел на нас сверху вниз. – А зачем вам я, если есть архивы?

– Ну, – Грек пожал плечами, – просто, как говорит моя мама, лучшая история – это история из первых уст. Мы не будем обузами, честное слово. Просто расскажите нам что-нибудь, чтобы хватило хотя бы на четверку. У нас очень строгий учитель. Ну, пожалуйста. Мы даже тортик принесли, – он повернулся ко мне, – покажи тортик.

Я поднял торт над головой.

Старик ничего не ответил. Он долго, молча смотрел на нас. Нижняя челюсть его постоянно двигалась, как будто он жевал что-то (возможно, процесс жевания помогал ему лучше думать). Потом устало вздохнул и отступил в сторону, пропуская нас в холодные сумерки своего дома.

– Ладно, заходите, только недолго, у меня дела сегодня.

– Э-э-э... хорошо.

По лицу Грека было ясно, что он не верит собственной удаче. Он готовился к долгим, утомительным переговорам, рассчитывал взять старика настойчивостью, измором. Если надо – устроить осаду. Но вышло так, что Косарь просто впустил нас. Без лишней болтовни.

Грек зашел в дом. Я же все еще стоял на месте с тортом в руках.

– А ты чего? – Старик окинул меня взглядом. – Так и будешь там стоять?

Я переступил порог, и дверь за мной звонко захлопнулась. Внутри почему-то пахло морковным салатом – мама делает такой на Новый год: тертая морковь, майонез и грецкие орехи. Этот запах сложно с чем-то спутать.

Мы прошли по коридору и очутились в небольшом зале. Стены обшиты деревом, в углу – старое, продавленное кресло, рядом – радиоприемник, из которого доносились странные голоса – они говорили что-то, но на чужом языке – я слышал легкие переливы буквы «р», как во французских фильмах. Косарь выключил радио и указал нам на диван.

– Пойду заварю чай.

Я присел, и диван зловеще заскрипел подо мной. Скрип пружин был похож на недовольное ворчание робота.

– Ух ты! – Грек разглядывал медали и статуэтки в пыльном серванте, за стеклом. – Это все ваше?

– Нет. – Старик вернулся с кухни. Теперь он был облачен в коричневый халат из странного серо-зеленого жесткого материала, похожего на парусину, из которой делают походные палатки. – Это медали моей дочери. В юности она была кандидатом в мастера спорта.

– И она...

– Прыгала в воду. С вышки.

– Крутота! Моя мама тоже кандидат спорта, – зачем-то сказал я. – Ну, то есть кандидат в мастера. Была.

Он посмотрел на меня поверх очков.

– Она тоже прыгала с вышки?

– Нет, плавала на четыреста метров.

– И почему бросила?

Я открыл было рот, чтобы ответить, но осекся. Ведь я не знал ответа. Почему? И когда? Когда я родился? Или когда они с папой поженились?

– Я не знаю.

– Итак. – Старик сел в кресло и жестом пригласил нас к разговору.

– А, да! – Грек отвлекся от медалей и сел на диван. – Чего расселся? Начинай резать торт. – Потом достал тетрадь и ручку.

Я хотел сказать, что мне нечем его резать, ножа нет, но почему-то молчал – и просто сидел с тортом на коленях, как дурак.

– Вы ведь занимались проектировкой систем ирригации, верно?

(Я мысленно пометил слово «ирригация», чтобы вечером посмотреть его значение в энциклопедии.)

– Верно, – сказал старик. Он, кажется, был немного удивлен этим вопросом.

– Да-да, и это ведь вы выкопали эти озера вокруг поселка.

– Строго говоря, это не озера. Это пруды. Но местные почему-то упорно называют их «озерами». И нет, это не я их выкопал. Проект создания прудов курировал мой начальник. Это целиком его заслуга, и я не знаю, почему все приписывают эту заслугу мне. Первую запруду он сделал, кажется, сразу после войны. Там, на юге. После сорок пятого государству как-то надо было восстанавливать сельское хозяйство, особенно в наших краях, где чернозем и сплошные поля. Но тут была проблема. Можно легко засеять сотни гектаров земли, но мы живем в засушливом районе, и если не позаботиться об орошении, толку не будет. Так был создан первый пруд, или Первое озеро, как его теперь называют местные.

Грек кивал и старательно записывал все в тетрадку.

– Но тут возникла новая проблема, – продолжал старик. – Нужен был трубопровод, чтобы поставлять воду в самые отдаленные районы. Но труб не было. Война – дело такое. Нет денег, нет ресурсов. Промышленность в упадке. Тогда Максимов придумал выход: сделать еще несколько запруд. Если не можешь доставить воду от озера к полю, надо просто выкопать еще одно озеро прямо рядом с полем. Если Магомет не идет к озеру, озеро само идет к Магомету. – Он улыбнулся, не разжимая губ. – Звучит глупо, любой инженер рассмеялся бы, если б услышал такую нелепость, но тогда у нас не было выбора, и мы стали думать, как устроить запруды там, на севере, рядом с посевами.

– Подождите-ка. – Грек открыл рюкзак, достал оттуда карту и развернул ее на столе.

Старик склонился над ней и улыбнулся.

– Ух ты, даже карту принес.

– Да. – Грек взял карандаш. – Но если Максимов хотел выкопать второй пруд на севере, тогда почему он в итоге перенес проект вот сюда? Это ведь довольно далеко от вот этой точки, так ведь-нет?

– Так. – Старик осторожно разровнял карту ладонью. – Видите ли, тут были чисто технические проблемы. Проблемы ресурсов. Нам приходилось выкручиваться буквально на каждом шагу. Задача была не из легких. Довольно сложно сварить кашу, если у тебя есть только вода и топор. Именно этим мы, в сущности, и занимались: варили кашу из топора. Кашей был наш проект, а топором – полное отсутствие оборудования. У нас были только лопаты и люди. И наши мозги. Тут ведь еще надо учитывать, что земля, на которой мы живем, находится под легким наклоном, мы живем на холме, хоть и не чувствуем, на деле же, если взять за точку отсчета уровень моря, то перепад высоты между этой точкой – он ткнул пальцем в северную часть карты, – и этой – палец опустил над южной частью карты, – довольно большой. И у Максимова просто не было оборудования, чтобы бурить до грунтовых вод. И тогда он и придумал свой проект «четыре пруда». Сеть из четырех водоемов, которые связаны, как сообщающиеся сосуды, вы ведь уже проходили это на уроке физики, так?

Мы с Греком кивнули.

– Но ведь он так и не закончил свой проект, нет?

Косарь улыбнулся и посмотрел на меня.

– А твой друг отлично подготовился. Сколько вам лет вообще-то?

– Тринадцать.

– Это впечатляет. – Он вздохнул и продолжил: – Да, над четвертым прудом работал уже я. Это было несложно, я всего лишь доделал его работу. Проект был уже готов, когда он... ммм... скончался.

– А что случилось с третьим прудом? – Грек сделал все, чтобы этот вопрос звучал максимально непринужденно, как простое, праздное любопытство.

Вопрос повис в воздухе, и я почувствовал, как атмосфера в комнате вдруг сгустилась. Запах морковного салата стал еще острее, в животе у меня урчало.

Косарь снисходительно рассмеялся.

– Да, третий пруд, или, как говорят, Третье озеро, – это нечто вроде местной легенды. Я слышал много нелепых историй о том, что с ним случилось.

– Например?

– Например?

– Да, – Грек взялся за ручку, – расскажите про самые нелепые легенды. Мы могли бы собрать их и записать, чтобы рассказать о них в своем докладе, это ведь интересно-нет?

– Ну, – Косарь пожал плечами, – самая идиотская версия гласит, что во время бурения геологи наткнулись на древнее кладбище, я не очень вдавался в подробности, потому что версия эта не выдерживает никакой критики.

Мы с Греком переглянулись.

– А вторая версия?

– Да они все примерно одинаковые. – Он положил руку на набалдашник своей трости, и только тут я заметил, что на левой руке у него нет среднего пальца – лишь короткий обрубок, одна фаланга из трех. – Все версии утверждают, что геологи во время бурения что-то там нашли: залежи алмазов, сокровище, скелет динозавра, бомбоубежище, ворота в ад, портал в другое измерение.

– А как все было на самом деле?

Косарь вздохнул.

– На самом деле всему виной время. Наш проект уже находился в процессе реализации, два пруда были готовы, а потом оказалось, что несколько заводов в Советском Союзе уже запущены и уже производят трубы. Это сильно облегчило задачу инженерам, проект был переделан буквально на коленке, и после перерасчета стало ясно, что третий пруд, или Третье озеро, называйте как хотите, больше не нужен.

– Но если он был не нужен, тогда почему вы не поменяли номера? Почему четвертый пруд не сделали третьим?

– Проект был уже готов, во всех сметах и документах значились именно эти номера прудов. И мы, инженеры, именно так их между собой и называли, и как-то так получилось, что названия просто прижились, и мы не видели никакого смысла в том, чтобы менять их.

– Но ведь третий пруд действительно начали копать-нет?

Косарь покачал головой:

– Об этом мне ничего не известно. Я принял проект в тот момент, когда надо было копать четвертый пруд, в том месте, где на плане было написано «четвертый пруд», мне сказали «Копай!», и я сказал «Так точно! Здесь будет четвертый пруд».

Вдруг на столе задребезжал будильник, Косарь бросил взгляд на циферблат – 19:30.

– Вам пора, – сказал он.

– Но мы ведь только...

– В другой раз. У меня дела.

– Хорошо. Мы придем завтра.

– Нет, не завтра. В другой день.

Грек начал складывать карту.

– Можно я схожу в туалет? – вдруг спросил он. – Я быстро, правда.

Косарь посмотрел на часы, он явно нервничал.

– Хорошо, только быстро. – Грек подскочил с дивана и огляделся.

– Коридор, последняя дверь налево, – подсказал старик.

И мой друг, пританцовывая, убежал в коридор.

Косарь поднялся и начал торопливо убирать со стола. Я бросился помогать ему.

– Торт можете забрать, – сказал он, – я не ем сладкое.

– А где туалетная бумага? – раздался приглушенный крик Грека из туалета. – А, все, нашел.

Затем – звук смыва в унитазе, шелест воды в раковине и щелчок двери.

– Извините, что так долго. У меня проблемы с пищеварением.

* * *

Мы попрощались со стариком и вышли на улицу.

– Иди спокойно, не оборачивайся, – сказал Грек, – води себя естественно. Скорее всего, он смотрит на нас из окна. Сейчас зайдем за свинарники и спрячемся в поле.

– Зачем? Я думал, мы закончили.

– Пффф... мы еще даже не начинали. Когда он уйдет, мы вернемся.

– Мы – что?

– Тихо ты, я же сказал: веди себя естественно. У него в туалете есть маленькое окошко. Я открыл шпингалет и подложил карандаш между рамой и подоконником, чтобы оно не закрылось.

В животе у меня словно завязали морской узел.

– Мы не можем. Это незаконно.

Мы зашли за свинарники и одновременно рванули в сторону пшеничного поля, так, словно за нами спустили гончих. Затаившись в зарослях озимой, мы легли на холодную землю.

– Как в той книге, – сказал я, – «Над пропастью во ржи». (На самом деле, конечно, ничего похожего тут не было, и книжку я так и не дочитал, а вспомнил о ней сейчас, чтобы казаться умнее.)

– Это не рожь, это пшеница, – сказал Грек. – Так, слушай сюда: сейчас Косарь пойдет на почту, я засекал время – вернется он только через сорок минут, в двадцать двадцать, понял-нет? У нас полно времени.

– Знаешь, мне кажется, это плохая идея.

– Это не плохая идея, это ужасная идея. Но это единственная идея. У тебя есть идея получше?

– Да.

– Какая?

– Не делать этого.

– Пффф, «не делать» – это не идея. Мы обойдем дом, ты подсадишь меня. Расслабься ты, мы ведь не обокрасть его собираемся, я просто хочу полистать его бумаги, он ведь пишет письма каждый день, там должны быть черновики или типа того-нет?

– И все же я...

– Тихо. Пригнись. Он идет.

– Зачем мне пригибаться? Я и так лежу на животе во ржи.

– Это пшеница. Тихо.

Темнело, воздух наполнился гулким стрекотом сверчков, мы смотрели вслед уходящему Косарю.

– Идем.

Грек достал свой карманный фонарик. Мы вернулись к дому и стали обходить его по часовой стрелке.

– Вот.

Пятно света остановилось на небольшом окошке, на высоте где-то два с половиной метра.

Он взял фонарь в зубы, как кубинскую сигару, и повернулся ко мне:

– Подшади меня.

Я сложил руки в замок, и Грек, опершись мне на плечи, потянулся вверх. Он зацепился пальцами за край окошка и поднялся как-то очень ловко, влез туда, буквально втянулся, как змея – в нору.

– Я внутри, все отлично. Если что – свисти!

– Но я не умею свистеть, – отозвался я.

– Что?! – Голова Грека появилась в окошке. – В смысле, не умеешь?

– Ну, вот так.

– Как можно не уметь свистеть? Все детективы должны уметь свистеть, это часть профессии!

– Иди в жопу. Не умею – и все.

– Ладно, не важно, нам в любом случае нужен какой-то позывной. Сигнал об опасности. Обычно используют свист, но ты же не можешь просто закричать.

Я лихорадочно соображал, и тут меня осенило:

– Ой, слушай, я ведь умею изображать пьяного селезня.

Грек удивленно смотрел на меня сверху вниз. Только голова в небольшом прямоугольнике окна – как диктор в телевизоре. Он поднял руку и посветил фонариком мне в лицо.

– Повтори-ка.

– Ну, я умею изображать пьяного селезня. Мой дедушка однажды напоил уток пивом, и они очень смешно кричали, и я так хорошо научился им подражать, что они даже приняли меня за своего.

Он выдержал паузу, покачал головой.

– Я хочу официально зафиксировать этот момент, потому что это самое странное признание из всех, что я когда-либо слышал.

– Мы теряем время, – сказал я. – Уже девятнадцать пятьдесят пять.

– А, ну да. Хорошо, просто давай договоримся уже насчет сигнала тревоги. Издай какой-нибудь звук.

Я набрал воздуха в легкие и издал несколько кричающих звуков.

Кряки мои звучали так странно, что Грек сорвался, и голова его пропала из окна. Раздался грохот.

– Я в порядке! – тут же крикнул он. – Я в порядке! – И его хохочущая голова снова возникла в прямоугольнике окошка. – Я хочу сделать официальное заявление: это был самый странный позывной в истории. Мне очень понравилось. Сделай так еще раз!

Я снова крякнул.

Смех у него был очень заразительный, я тоже захихикал. Но тут же вспомнил про время, посмотрел на часы.

– Эй, уже восемь.

– Блин! Щас вернусь! Будь на стреме!

Ночь не была темной, небо как свежий лед на озере, а звезды в нем – как пузырьки воздуха в толще льда, а луна – как мутная вода в проруби. Я запрокинул голову и подумал: как жаль, что я ничего не понимаю в звездах. Надо бы выучить хотя бы парочку созвездий, чтобы смотреть в ночное небо и не чувствовать себя тупицей.

А потом я взглянул на пшеничное поле и вспомнил про эту книжку, где там пропасть на ржаном поле. Надо бы ее почитать, хоть пойму, в чем же там соль и зачем кому-то понадобилось сеять рожь прямо над пропастью. Какой в этом смысл? Ведь если засеять поле на краю пропасти, то люди не смогут увидеть края и упадут. Или, скажем, комбайн будет собирать эту рожь, и комбайнер не заметит края и свалится туда. Интересно, в книжке есть ответы на эти вопросы? А если, например, на дне этой пропасти есть деревня или город, и жители живут себе и в ус не дуют, а потом – бац! – и им на головы упадет комбайн, а? Прямо вот на крышу дома. Сидишь ты такой, завтракаешь, яичница, кофе с молоком, все дела, и – фигак! – твои кишки намотаны на лопасти комбайна! Что-то такое было в той крутейшей книжке братьев Стругацких, которую мне читал отец! Хоть убей, не помню, как она называется: там что-то про осадки. Надо будет спросить у отца.

Потом я посмотрел на огромную клетку для пса. Фарадей – ужасное чудовище, единственный пес на свете, который не умеет лаять. Какой смысл его держать? Ведь такой пес не сможет ни отпугнуть незнакомца, ни предупредить хозяина о том, что кто-то приближается. Хотя, тут же подумал я, с другой стороны, молчаливый взгляд этого пса порой гораздо страшнее любого лая. Да и вообще все зависит от хозяина. Может быть, Косарю и не нужны предупреждения. Ему нужен тихий пес, который сможет беззвучно подкрасться к незваному гостю и перегрызть ему глотку. Голосовых связок у Фарадея, может, и нет, а вот зубы еще как есть. Надо только выпустить пса из клетки...

И только тут я заметил, что клетка открыта.

Металлическая дверь нараспашку.

Меня бросило в пот. Я хотел издать тревожный сигнал, уже даже приложил ладони ко рту, но передумал. Нельзя привлекать внимание. Пес ведь может услышать меня. Где он вообще? Я бросил взгляд на пшеничное поле, залитое лунным светом. Дул ветер и гнал волны по полю, колосья раскачивались. Или это пес бежит? Боже мой, это он!

Я рванул вокруг дома, к двери и стал бить в нее кулаками.

– Саша! Саша! Открой! Открой, слышишь?! Быстрее!

Я долбил по двери так сильно, что у меня тут же заболели кости, заломило запястья и костяшки пальцев. Когда дверь распахнулась, я оттолкнул Грека, ворвался в дом, щелкнул замком и тут же сполз по двери на пол. Меня трясло так, что я с трудом дышал.

– Ты дурак-нет? – Грек развел руками. – Мы же договорились.

– К-к-клетка!

– Что?

– Клетка! Клетка открыта!

Он подбежал к окну, отдернул штору и стал вглядываться в темноту. В тот день я впервые услышал, как он матерится. Ругань его была такой изощренной, что я просто не понимал половины слов. Когда же приступ паники прошел, стал ходить туда-сюда.

– Идиот-идиот-идиот! – Он бил себя по голове. – Я не подумал об этом. Конечно же, он выпускает собаку, когда уходит из дома. Это ведь очевидно.

Я смотрел на него снизу вверх, сидя на полу, подпирая спиной входную дверь.

– Что будем делать?

– Тихо. Мне надо подумать. – Он ходил по кругу и ворошил свои волосы. Прошло пять минут, но он так и не произнес ни слова.

Я посмотрел на свои «Касио».

– Блин, уже двадцать двадцать. Он же сейчас вернется.

Грек замер. В темноте коридора я видел лишь его силуэт, но я буквально чувствовал эту ауру ужаса вокруг него.

Он подошел к окну и слегка отдернул штору.

– Идет.

Слово прозвучало в темноте глухо и отрывисто – словно камень упал на пол. Мне хотелось плакать. Я поднялся с пола, выглянул в окно и увидел серый силуэт, идущий по дороге. Навстречу ему бежал его медведеобразный пес. Седая шерсть Фарадея блестела в свете луны, словно мокрая.

Они оба – пес и человек – приближались к дому. Старик подошел к клетке и указал на нее пальцем, Фарадей послушано забежал внутрь, дверь хлопнула, звякнул шпингалет.

– Бежим, бежим, бежим, бежим, бежим! – Грек схватил меня за шкуру и потащил по коридору. – Быстрее, быстрее, быстрее.

Мы забежали в туалет. Грек запрыгнул на сливной бачок унитаза и начал подсаживать меня к окну. Я не помню, как мы оказались снаружи. Из окна я, кажется, вывалился головой вниз, но даже ничего не почувствовал при приземлении – настолько был напуган. Бог знает, как мне удалось ничего не сломать. Грек выпрыгнул следом. Рюкзаки наши лежали тут же, у стены, мы схватили их и рванули прочь сквозь пшеничное поле.

От страха, и усталости, и холода у меня ломило зубы, нёбо потрескалось, словно дно пересохшего озера.

– Подожди! Петро, подожди!

Я замедлился и обернулся. Грек хромал следом.

– Что такое?

– Нога. Блин!

– Тебе помочь?

– Не, я могу идти. Просто хватит бежать. Мы уже далеко. – Он выдохнул и зажмурился. – Пффф, пронесло.

Несколько минут мы шли молча. И, честно говоря, в тот момент я его просто ненавидел. «Как глупо, как глупо, как глупо, – вертелось в голове, – зачем я согласился на это? Поиграли в детективов, блин!»

– Не хочешь узнать, что я нашел у него на столе? А? Петро? Ну чего ты опять ускоришься, у меня же нога!

– Нет! – Я обернулся. – Не хочу я ничего знать! Иди в жопу!

Он виновато смотрел на меня:

– Прости. Я знаю, по-дурацки вышло.

Минуту мы молча смотрели друг на друга, и вдруг – он засмеялся. Сначала сдавленно, потом – громко и в голос.

– Чего? Чего ты ржешь?

– Видел бы ты свое лицо там, когда я открыл дверь!

– Ничего смешного.

Грек с трудом подавил хохот.

– Да, ты прав, еще рано над этим шутить. Постой, я присяду ненадолго, а то совсем больно наступать.

Он присел на бордюр, взялся за ногу обеими руками так, словно она была отдельным предметом.

– Сломал? – спросил я.

– Не, если б сломал, я бы пальцев не чувствовал, а я могу ими шевелить. Просто неудачное приземление.

Мы переглянулись – и снова засмеялись. Одновременно. Страх прошел, и смех сработал как защитный механизм.

Я тоже присел на бордюр:

– Что ты нашел?

– Наконец-то. Я думал, ты никогда не спросишь. – Он рылся во внутреннем кармане куртки, достал сложенный вчетверо листок и протянул мне.

– Это было на его столе. Он подкладывал этот листок под письмо. Я заштриховал его карандашом, чтобы увидеть продавленные места на бумаге.

Я раскрыл листок и увидел череду странных символов – иностранный язык.

– Что здесь написано?

– Откуда я знаю? Надо найти переводчика. А пока мы знаем только, что он пишет письма за границу.

– Ну, это не преступление. – Я вернул ему письмо. – Он может писать письма кому угодно, это его право.

– Да, только есть одна загвоздка.

– Какая?

– Он соврал сегодня.

Я вопросительно посмотрел на Грека.

– Был еще один инженер. В пятьдесят втором. После Максимова и перед Косарем. Именно он должен был отвечать за создание третьего пруда.

– И что с ним стало?

– Никто не знает. В архивах ничего нет об этом.

– Тогда откуда ты знаешь, что был еще один инженер?

Грек улыбнулся:

– Бухгалтерия. Быть сыном работницы архива довольно скучно. Я кучу времени проводил в хранилище, помогал маме сканировать документы, они хотят переписать все в компьютер,

а бумаги пустят на макулатуру. Так вот, я нашел зарплатные листы. Максимов перестал получать зарплату в феврале пятьдесят второго, потом в бумагах появился некий «Руков А. В.», но через полгода все упоминания о нем исчезли. И только в январе пятьдесят третьего появился Косарев, то есть наш Косарь.

– А что, если он ничего не знает об этом?

– Знает.

– Откуда ты знаешь это?

Он растирал ступню ладонями.

– Интуиция.

* * *

– Ну здравствуйте, молодые люди.

Мы возвращались с нашего «интервью» (как раз шли через рынок, было уже поздно, и прилавки пустовали), когда нас окликнула моя мама.

– Здравствуй, сынок.

Я представил ей Грека. Грек увидел у нее в руках тяжелые пакеты с продуктами и кинулся помогать. Его хромота тут же прошла.

– Ох, – мама выдохнула с облегчением, – спасибо, Саша. Какой хороший у тебя друг, – сказала она мне.

Грек не просто помог маме донести продукты до дома, он даже поднялся с нами в лифте и дотащил пакеты до самой двери. Ему было ужасно тяжело, он прямо гнулся под тяжестью гречки и сырых куриных грудок, мы с мамой предлагали ему разделить эту ношу, но он упрямо качал головой.

– Еще раз спасибо тебе, Саша, – сказала мама, пытаясь в полутьме попасть ключом в замочную скважину (лампочку на лестничной клетке опять разбили).

Грек достал свой карманный фонарик детектива и посветил на замок.

– Ой, – мама засмеялась, – ты спасаешь меня уже во второй раз за последние десять минут.

Дверь распахнулась, повеяло теплом дома. Мама включила свет в коридоре, и мы минуту шурились, привыкая к яркому электрическому свету.

– Петро, а может, пригласишь друга на ужин?

– Я? Хорошо. – Я посмотрел на Грека и с удивлением увидел испуг в его глазах.

– Я даже не знаю, – сказал он. – Уже поздно. Скоро девять, я должен дома быть.

– А я позвоню твоей маме и скажу, что ты у нас. Скажу, что ты помог мне, и я настаиваю, чтобы ты остался на ужин.

Я смотрел на Грека и не мог понять, почему он в панике.

– Мама учила меня никогда не ходить в гости без торта. Это невежливо.

Моя мама засмеялась:

– Это интересно. А давай мы договоримся, что ты придешь с тортом в следующий раз. А сегодня угощаю я. Торты у нас нет, зато есть гречка и жареная курица.

В гулкой тишине подъезда послышалось урчание.

– Похоже, твой желудок «за».

«Оставь его в покое, – хотел сказать я маме, – чего ты к нему прицепилась? Это мой первый и единственный друг. Сейчас он решит, что ты сумасшедшая, и перестанет со мной общаться».

И в то же время я не мог понять, почему Грек не хочет заходить к нам в гости. Все выглядело так, словно они вдвоем знают что-то, чего не знаю я.

– Ну, хорошо. – Грек переступил порог.

– Вот и славно. Умывайтесь, ужин скоро будет. И да, надо позвонить твоей маме.

– У нас нет телефона, – сказал Грек.

Уши его горели, он как будто стыдился этого.

– Ну, тогда я позвоню вашей соседке и попрошу, чтобы она передала твоей маме, что ты у нас.

– Хорошо. – Голос его звучал сдавленно.

Буквально через две минуты в замке входной двери снова щелкнул ключ – вернулись папа и Егор (отец возил малого в больницу, проверить горло).

Мы сели за стол. Егор, как всегда, капризничал, и маме пришлось специально выкладывать еду на тарелке, чтобы он смог ее есть.

– Он ест только круглую пищу, – объяснил я Греку. – Поэтому мама выкладывает рис в виде круга и кусочки курицы тоже вырезает кругляшками.

Грек посмотрел на Егора:

– Любишь все круглое, а?

Егор закивал.

– Тебе бы понравился наш учитель математики. Он круглый дурак.

Возникла неловкая пауза, мама с папой переглянулись. И чтобы как-то сгладить неловкую шутку Грека, я начал рассказывать о Третьем озере. Точнее, о его отсутствии.

– Действительно, странно, – сказал отец. – Я и не думал об этом. Почему после второго идет четвертое?

– Добавки? – спросила мама у Грека. Она все время смотрела на него с какой-то странной жалостью и заботой, словно на промокнувшего под дождем щенка.

– Нет, – сказал он тихо, – спасибо, я сыт.

– Да брось. – Она взяла его тарелку и навалила ему еще гречки и положила жареную куриную грудку. – У нас в семье всегда едят две порции.

– Да? – удивился я. – А можно мне завтра две порции шоколада?

– И мне! – сказал Егор.

– Нет.

– Но ты же только что сама...

– Я имела в виду полезную еду, а сладкое вредно для зубов. И для кожи. Смотри, у тебя на лбу вон опять выскочили прыщи, – она прищурилась, – уже расковырял один, да?

– Нина! – Папа демонстративно бросил ложку в тарелку. – Давай не будем обсуждать его прыщи хотя бы за ужином, а?

– Пардон.

Снова повисла тяжелая тишина. На этот раз ее прервал Грек. Он обратился к отцу:

– Петро сказал, что вы любите делать табуретки.

Отец перестал жевать и посмотрел на меня.

– По-моему, это очень круто, – добавил Грек.

– Круто? – Мама вскинула брови в изумлении. «Круто» было последним в списке ее слов, относящихся к отцовскому хобби.

– Э-э-э... ну да, наверно. – Отец тер шею ладонью.

– Да, мой брат сейчас учится в Японии, изучает криптографию. Это такая наука про защиту информации.

(«Так во-от почему он так одержим всеми этими шифрами и тайными знаками», – подумал я.)

– Вот как? Старший брат?

– Ага. Он иногда звонит нам. Ну, то есть не нам, а тете Тане, и мне позволяют поговорить с ним пять минут. Я рассказал ему про ваши табуретки и про то, как вы говорите, что для вас создание табуреток похоже на медитацию. Ну, потому что, по-моему, это очень круто. Я

читал про одного японца, его звали... эммм... то ли Хиросима, то ли Нагасаки. Так вот, у него был маленький ресторанчик в подземном переходе, там даже туалета не было, верите-нет? А в меню там – только суши. И все! Ничего больше. Даже воды не было. – Грек задумался. – Ну, может быть, вода все-таки была, я не помню. Но в остальном – только суши. И знаете что? У него не было отбоя от посетителей.

– Как интересно. – Папа с мамой переглянулись.

– Да. – Грек ковырял вилкой курицу. – Больше всего на свете японцы ценят преданность своему делу. Знаете, Брюс Ли, один из моих кумиров, он сказал как-то, – Грек многозначительно поднял вилку: – «Я боюсь не того, кто отработал по разу десять тысяч ударов, а того, кто отработал десять тысяч раз один удар». Понимаете? Преданность – нет ничего важнее. И посетители этого ресторана ходили к повару и ели его суши с угрем. Они отдавали дань его преданности своему делу.

– Это прекрасная история.

– Да. Это мне брат рассказал. И еще он сказал, что ваша история с табуретками очень похожа на историю этого... Хиросимы-Нагасаки. Я не помню, как его зовут, но я обязательно спрошу у брата, когда он позвонит в следующий раз.

– Хорошо.

– Мой брат сказал, что в Японии вы были бы очень уважаемым человеком.

Отец засмеялся.

– Да, мне, пожалуй, стоит подумать о переезде в Японию.

Грек вдруг закашлялся:

– Ой, простите, я не то имел в виду. Я не хотел сказать, что здесь вы не уважаемый, простите, я... то есть в Японии все по-другому.

– Ничего, не переживай, я понял, что ты имел в виду. И я очень польщен. Знаешь, странное дело: однажды в моем гараже табуреток стало так много, что я просто не мог развернуться там. Тогда я решил раздать их. Я повесил объявление: «Бесплатные табуретки». И знаешь, что произошло?

– Что?

– Ничего. Никто не пришел. И знаешь, что я сделала?

– Что?

– Поменял текст объявления. «Суперцена. Скидки. Акция. Только сегодня». И знаешь, что произошло?

– Что?

– Я продал все табуретки за день.

Мы с мамой переглянулись, папа никогда не рассказывал нам эту историю.

– Люди видели дешевые табуретки, покупали табуретки «с огромной скидкой, по акции» и уходили в полной уверенности, что совершили выгодную сделку. Это льстило их самолюбию, наверно.

Мы все засмеялись. Действительно прекрасная история. Я смутно догадывался, что где-то там есть мораль, но пока не понимал, в чем она.

– Это потрясающе! – сказал Грек. – Я обязательно расскажу ее своему брату, когда он позвонит в следующий раз. Он будет в восторге!

* * *

Я готовился ко сну, шел в ванную, чтобы почистить зубы, когда услышал с кухни мамин голос. Она мыла посуду – шумела вода и звенели тарелки, – но даже сквозь посторонние шумы я услышал, как она сказала: «... этот мальчик, Саша».

Вообще-то подслушивать нехорошо, и я бы просто пошел дальше, но следующая фраза мамы привлекла мое внимание:

– Мне всегда так жалко его.

– Да? Почему? – спросил отец.

Он сидел за обеденным столом и, кажется, пил чай. Я слышал, как он размешивает сахар и хрустит баранками.

– Ну, мне всегда жалко детей из неполных семей. Я знаю его мать, она одна воспитывает троих детей. У него есть сестра, она уже в десятом классе, кажется. И еще брат старший, но ему повезло, он выиграл общероссийскую олимпиаду и уехал учиться в Японию.

– А что стало с их отцом? – спросил отец.

Мама выключила воду, звякнула тарелка. А потом тишина – долгая и странная. Я было решил, что разговор подошел к концу, или мама не хочет отвечать, или уже ответила, просто я не расслышал.

И вдруг она сказала:

– Он повесился.

* * *

На следующий день, во время большой перемены мы нашли Аню и показали ей бумажку с иностранными словами.

– Это немецкий, – сказала она.

– Ты уверена? – спросил Грек.

Она посмотрела на него как на идиота.

– Я изучаю немецкий, как ты думаешь, я уверена?

Грек всегда игнорировал ее презрительный тон. Видимо, привык.

– Значит, он немец, – сказал он, повернувшись ко мне.

– Так, что ты опять учудил? – Аня откинула челку с глаз. Знакомое движение – Грек тоже постоянно откидывал челку с глаз, без рук, просто дернув головой. Похоже, у них это семейная черта, они словно копировали привычки и тики друг друга. – Откуда эта бумажка?

– Ниоткуда, – сказал Грек. Рядом с ней он всегда превращался в запуганного младшего брата – говорил тихим, почти извиняющимся тоном. – Нашел.

– Петя, – она посмотрела на меня, – я надеюсь, вы не затеваете ничего такого?

– Я тоже на это надеюсь, – сказал я.

Мне было обидно, что она видит во мне всего лишь друга своего мелкого брата. Я для нее – малолетка. Но это нечестно, у нас разница всего два года. Я даже Диккенса начал читать, чтобы понравиться ей. И пару раз уже пытался процитировать его в разговоре с ней; она заметила цитаты, но не похоже было, что они ее впечатлили.

– А что именно здесь написано? – спросил Грек.

Она снова взяла бумажку.

– Не знаю, это половина слова. А дальше – числа: один, два, четыре, пять.

– Пффф, ну спасибо, помогла. – Грек закатил глаза. – А то мы без тебя не знали, что это числа.

Аня искоса посмотрела на него.

– Нарываешься?

* * *

Самое интересное началось, когда я вернулся домой.

– К нам сегодня заходил Андрей Борисович Косарев, – сказала мама. Она стояла на кухне у плиты и размешивала что-то в кастрюле. – Спрашивал тебя. Сказал, что вы с Сашей Греком пишете доклад по истории родного края. Очень хвалил вас, говорил, вы очень ответственно подошли к заданию, и приглашал вас завтра в гости. Петро?

– А?

– Ты в порядке? Ты как-то побледнел. Ты хорошо себя чувствуешь?

– Меня тошнит немного. Пойду прилягу.

Внутри у меня все похолодело, уши заложило, словно при резком наборе высоты. Он знает, он знает. Он знает! Он знает, что мы влезли к нему в дом, мы оставили следы, это точно. Торт! Господи, неужели я где-то там забыл этот дурацкий вафельный торт?

Я зашел в детскую, на полу сидел Егор и собирал свой китайский конструктор «Лигао» (я называл его «недолого»). Детали валялись повсюду, как осколки битого стекла, я вечно наступал на них, и это было очень больно. Сейчас же я прошел по ним, как йог – по раскаленным углям. Мне было так страшно, что я не чувствовал боли. Я метнулся к рюкзаку и стал рыться в нем – торта не было! Я забыл его где-то там! Или он выпал, когда я убежал по полю?

Я подошел окну и осторожно выглянул. На улице никого, пустая детская площадка. Ветер едва двигает качели.

Надо бежать к Греку, предупредить его.

«Никто не выпустит тебя из дома, уже поздно».

Тогда я кинулся к телефону, чтобы позвонить ему, но тут же в ярости шарахнул трубкой о рычаг – у Грека нет телефона. Он есть у соседки, тети Тани, но мама ни за что не позволит мне позвонить ей. «Это невежливо, – скажет она, – звонить после девяти вечера и тем более звонить соседке друга и доставлять ей неудобства».

В отчаянии я лег на кровать, закрыл лицо ладонями. Думай, думай, думай. Что делать?

Я хотел бежать – накинуть куртку и рвануть куда глаза глядят, сквозь пшеничные поля, сквозь лесополосы и бежать, бежать на запад, не оборачиваясь, бежать, пока не добежу до Португалии, до побережья Атлантики, и там прыгнуть в океан и плыть-плыть-плыть-плыть-плыть-плыть, пока не доплыву до Аргентины, и уже там, в Аргентине, я бы купил поддельные документы на черном рынке (на имя «Элиот Боливар», например) и залег бы на дно где-нибудь в самом глухом районе Буэнос-Айреса, в фавелах. Я бы устроился подмастерьем к портному и научился бы шить настоящие пончо, подружился бы с индейцами-гаучо, и стал бы антропологом, и изучал бы племена Южной Америки, вот была бы жизнь...

Сколько у меня денег в копилке? Рублей двести? Этого хватит на билет до Аргентины?

Хотя кого я обманываю? Если Косарь так быстро нашел меня здесь, то уж и в Буэнос-Айресе он точно меня обнаружит. Нет, он шпион, точно шпион. Грек был прав, все эти недомолвки, странные чужие голоса из радиоприемника, ежедневные письма на немецком языке. Мы зря разворошили этот улей с шершнями прошлого.

И вдруг в коридоре задребезжал телефон. Я вскочил с кровати так, словно мною выстрелили из пушки, и тут же наступил на рассыпанные по полу детальки Егорова конструктора.

– Эй! – возмутился он.

Но я уже был в коридоре. Я знал, что это Грек. Я бежал так быстро, что, кажется, преодолел звуковой барьер, но – мама все равно как-то умудрилась меня опередить. Она взяла трубку и сказала «да» (она никогда не говорила «алло», только «да»), минуту слушала похожее на шорох бормотание в трубке, потом обернулась, хотела позвать меня, но вдруг подпрыгнула от испуга и удивленно вскинула брови, увидев, что я уже стою прямо перед ней с протянутой рукой.

– Секундочку! – сказала она, прикрыла трубку ладонью и прошептала: – Будь добр, сообщи ему, что это невежливо звонить после девяти вечера.

– Хорошо-хорошо. – Я вырвал у нее трубку, схватил телефон и потащил его в туалет.

– Эй, осторожней! Провод не порви.

К сожалению, провод был недостаточно длинный, и я не смог нормально закрыть дверь в туалет. Телефон остался по одну сторону двери, а трубка на пружинистом проводе – по другую. Я опустил стульчак и сел на унитаз.

– Алло, – прошептал я.

– Почему ты шепчешь? – спросил Грек.

– Я не знаю, – снова прошептал я.

– А если ты не знаешь, тогда зачем ты продолжаешь шептать? Это ведь глупо-нет?

– Да, наверно.

– Я по делу звоню: я так понимаю, к тебе он тоже приходил?

– Да! – выдохнул я, чувствуя облегчение. «Ну вот, – думал я, – сейчас Грек придумает, как нам выпутаться. Не удивлюсь, если он уже звонит мне из Аргентины». – Что будем делать?

– Пойдем к нему, что же еще.

– Ты спятил?! Этот человек похитил целое озеро! Заставил его исчезнуть! Что помешает ему «исчезнуть» нас с тобой? Может, он нас в этом исчезнувшем озере и утопит, блин.

– Так, перестань истерить. На самом деле это не так уж плохо...

– «Не так уж плохо»? Он знает! Он знает, что мы были в его доме! Мы наверняка наследовали там, у меня была грязная обувь! И еще я потерял торт.

– Это возможно, да. Но я все продумал. У нас будет план для отступления. Он не сможет нас «исчезнуть».

Я молчал.

– Аня, – сказал Грек.

– Аня?

– Да, Аня.

– И что с ней?

– Мы ей все расскажем.

– Ты с ума сошел? Ты расскажешь ей, как залез в чужой дом?

– Нет, мы скажем ей не всю правду. Но скажем. Она будет нашим козырем. Она всегда меня выручает.

Я глубоко вздохнул.

– Ну ладно. Это может сработать.

– А, и еще, – сказал Грек, – я узнал у брата имя того японца. Дзиро Оно.

– Какого японца?

– Ну того, который делал суши. Его имя Дзиро Оно. Скажи своему отцу.

* * *

И хотя разговор с Греком меня успокоил, я все равно всю ночь не мог сомкнуть глаз. Каждый пять минут смотрел на часы и несколько раз ходил на кухню попить воды. Во время одного из таких походов я и столкнулся с мамой. Она сидела за обеденным столом и что-то писала в тетрадке. Мы с папой знали, что она пишет роман, но старались не трогать ее. На вопросы мама реагировала странно: сначала отшучивалась, говорила: «Да так, ерунда всякая, девичий дневник», потом же, когда вопрос ей надоел, она выбрала новую тактику: когда ее литературные будни снова становились частью дискуссии за обеденным столом, она просто опускала очки на переносицу и грозно смотрела на нас своим «фирменным» взглядом («хочешь скандала? Могу устроить», – говорил этот взгляд). Однажды папа попытался пошутить на эту тему:

– Ну? Как будет называться твой роман?

– «Убийство несмешного математика»⁵.

⁵ Отличное название для романа, кстати. Возьми на заметку. – *Примечание Егора.*

И пусть по форме это звучало как шутка, тон у мамы был такой холодный и презрительный, что папа с тех пор не касался этой темы.

И сейчас я, застав маму за работой над романом, просто молча прошел мимо, налил себе в чашку кипяченой воды из трехлитровой банки на подоконнике и уже хотел вернуться к себе в комнату...

– Что, не спится? – спросила мама.

– Угу.

– Мне тоже, – вздохнула она.

Я ждал, что она скажет еще что-нибудь, но она молчала. Я собирался уйти, но остановился на пороге – не знаю как, но я почувствовал: мама не хочет, чтобы я уходил.

Я обернулся:

– Мам?

– Да?

– А можно спросить?

– Конечно.

– А почему ты бросила плавание?

Я боялся, что вопрос разозлит ее, в последнее время ее злили вообще любые вопросы (даже безобидные, вроде «сколько времени?»), она очень легко выходила из себя и начинала кричать, просила оставить ее в покое. Но в этот раз все было иначе. Она улыбнулась, отложила ручку, сняла очки и стала тереть глаза ладонями так, словно хотела вдавить их внутрь черепа.

– А почему ты спрашиваешь?

– Не знаю. Я рассказывал одному человеку о твоих наградах по плаванию, а он спросил у меня, почему ты ушла из плавания, а я не знал, что ответить. Ты перестала заниматься плаванием, потому что я родился, да?

– Это кто тебе сказал? Отец?

– Нет. Ну, то есть он сказал, что ты перестала ходить на плавание после моего рождения, потому что тебе надо было ухаживать за мной.

Она вздохнула.

– Так. Во-первых, я хочу, чтобы ты знал: я никогда, никогда, ни одной секунды не жалела ни о чем, что было связано с тобой или с твоим братом. Ты это понимаешь?

Я кивнул.

– Да, я ушла из спорта после того, как ты родился, но это вовсе не значит, что ты в чем-то виноват. Да, я действительно хотела проводить больше времени с тобой, но... – Она запнулась, ей было тяжело говорить.

– Но тогда почему?

Закрыла лицо ладонями, потом сквозь пальцы посмотрела на стопку своих черновиков.

Голос ее словно треснул.

– Потому что я никогда в своей жизни ничего не доводила до конца. И только об этом я жалею. Ничто не мучает сильнее, чем неоконченное дело. И если я когда-то была груба с тобой и заставляла тебя делать что-то, что тебе не нравилось, я делала это только потому, что не хотела, чтобы ты повторил мои ошибки. Чтобы ты всегда все доводил до конца. Потому что теперь, прожив немного, я знаю, что каждое неоконченное дело отдаляет тебя от... от... самого себя... – Она зажмурилась и сжала кулаки, ее ужасно злило то, что она не может четко сформулировать мысль. Мама в последнее время была сама не своя, я чувствовал, они с отцом все чаще ссорились. – Все это звучит ужасно глупо, – бормотала она, – банально и непонятно, но я все-таки надеюсь, что... что... – она неопределенно махнула рукой и посмотрела в окно, – что эти слова когда-нибудь помогут тебе. Никогда не бросай начатое, даже если тебе кажется, что ты делаешь это хуже всех на свете. – Только тут я понял, что она говорит все это не столько

мне, сколько самой себе. – Даже если ты точно знаешь, что никогда не будешь лучшим в своем деле, – это не дает тебе права сдаться.

Я хотел сказать ей что-нибудь ободряющее, но боялся испортить момент. В самом деле, что я мог сказать? Но и просто стоять там со стаканом воды в руке я тоже не мог. Тогда я сел за стол напротив нее и бросил взгляд на ее черновики.

– Мам.

– А?

– А о чем будет твоя книга?

Она смущенно прикрыла страницу ладонью.

– Ни о чем. В том-то и проблема. Мне не о чем писать. У меня нет оригинальных мыслей.

– Это неправда! У тебя полно оригинальных мыслей! У тебя всегда отлично получалось придумывать сказки. Помнишь про Графта и сердце?

Она удивленно посмотрела на меня.

– Ну, про мальчика, который родился без сердца, – объяснил я. – Ты рассказывала ее мне перед сном, когда я был маленький.

– Ну, я рассказывала тебе много сказок.

– Да, но эта была особенная.

– Почему?

– Потому что я знал, что это ты ее придумала специально для меня.

Она закрыла рот ладонью, то ли зевнула, то ли была тронута, я не мог разобрать. Но что-то изменилось в ее лице – я знал, что смог достучаться до нее.

– Я имею в виду, почему ты говоришь, что ничего не доводила до конца? Ты ведь довела до конца историю про Графта и его обретенное сердце, правильно? У этой сказки идеальный конец.

Она шмыгнула носом, готовая заплакать.

– Я и не думала, что ты помнишь об этом. Ты ведь был совсем маленький.

– Ты шутишь? Я все детство мечтал, что мое сердце будет светиться, как стоваттная лампочка!

* * *

– Ай-ай-ай-ай, бо-о-ольно!

Аня держала Грека за ухо, он корчился от боли и словно висел на ее руке, пытаясь освободиться.

– Так и знала! Ты опять что-то натворил! Петро. – Она строго посмотрела на меня, продолжая выкручивать брату ухо. Наблюдать за этим было ужасно неловко. – Что вы сделали? Говори.

Я сглотнул.

– Ничего.

– Ничего? А зачем тогда вы оставили это письмо в нашем почтовом ящике?

Она бросила в меня комком бумаги – не мне, а именно в меня.

– Я не думал, что ты так рано заглянешь туда, – прошипел Грек. Он все еще пытался освободить свое ухо.

Я поднял листок и прочитал: «Если я не вернусь домой, во всем виноват Косарь». Я испытал приступ настоящего испанского стыда (это когда тебе стыдно за кого-то другого, мне мама об этом рассказывала). Грек сказал, что у него есть план – но не упомянул, насколько это тупой план. Оставить предсмертную записку? Тоже мне план.

Анна слушала меня спокойно, даже слишком спокойно, и, когда я рассказал, как мы проникли в дом Косаря, она не разозлилась, наоборот, она выглядела усталой и разочарованной.

– Саша, твою ж мать, – тихо сказала она. – Почему ж ты такой дуралей?

Он ничего не ответил, прижимал ладонь к больному уху, словно боялся, что оно отвалится.

* * *

Мы подходили к дому Косаря. Ночью прошел дождь, дорога раскисла и хлюпала черной жижей под ногами. Дорожная колея была полна воды (в ней купались воробьи), нам приходилось идти по обочине.

В этот раз нам даже не пришлось стучать – дверь распахнулась, стоило нам ступить на порог.

– Ой, у нас еще одна гостья. – Старик улыбнулся Ане.

Она начала было извиняться за нас, но Косарь успокоил ее и пригласил нас всех в дом.

– Заходите. – Он улыбнулся как-то слишком дружелюбно, и я почувствовал, как мой желудок завязался в узел. – Только обувь оставьте за порогом.

Мы разулись и вошли.

– Что с твоим ухом? – спросил Косарь.

– Аллергия, – буркнул Грек. Похоже, этот аргумент он заготовил заранее.

Я старательно имитировал спокойствие и всеми силами подавлял внутренний голос: «Это ловушка! Беги!»

Но дверь захлопнулась за нами, было поздно. Внутри все так же пахло морковным салатом с грецкими орехами и еще чем-то – как будто марлей или спиртом. Как в операционной. Я живо представил себе пыточную в подвале у Косаря, все эти скальпели, ланцеты и иголки, которые он будет загонять нам под ногти.

– Мы принесли торт, – сказал Грек.

– Отлично, я как раз заварил чай. Имбирный, с кусочками фруктов.

«Так вот что это за запах? Имбирь», – подумал я.

Он, как и в прошлый раз, был облачен в серо-зеленый халат. На ногах – старые зеленые затрепанные тапочки с заостренными, загнутыми вверх носками. Вместе с седой бородой все это делало его похожим на джинна из сказки. Я даже невольно стал озираться в поисках бутылки или лампы, из которой он вылез.

Мы с Греком сели на продавленный диван. Аня села рядом со мной, сквозь одежду я чувствовал ее теплое бедро.

Косарь разлил чай по чашкам и сел в кресло напротив нас.

Повисла пауза, где-то вдали летел кукурузник. Мы молча переглядывались, как соучастники на очной ставке, играли в молчанку, словно дожидаясь, когда же оппонент даст слабину и заговорит первым. У нас был только один вопрос: как много он знает? И я уверен, старик разглядывал нас и по лицам пытался понять, какая часть правды известна нам.

– Что ж, давайте начну я, – наконец проговорил он. – Все-таки это я вас пригласил. Только сразу предупреждаю: я не собираюсь вас ни в чем обвинять или угрожать вам. Все очень просто. Я знаю, что вы залезли ко мне в дом.

Я с трудом подавлял дрожь в колене.

– Вы изрядно наследили там, в туалете. На сливном бачке и в коридоре – следы ваших ботинок. И да, сначала я был очень зол и хотел найти вас и оторвать вам головы или чего похуже.

Мое лицо горело от стыда, я смотрел в пол, потому что боялся, что если взгляну на старика, то рассыплюсь на осколки, как витрина, в которую швырнули булыжник. Если бы он орал на нас, или пытался нас побить, или вызвал полицию, это не было бы и вполнину так

унизительно. Каким-то образом его тихая, спокойная речь, его слова о том, что он прощает нас, – все это делало наш поступок еще более подлым и неприличным.

Грек убрал руку от уха. Ухо было пурпурное, как орден за храбрость.

– Но потом я успокоился, осмотрел свои вещи и понял, что ничего не сломано и не украдено. Потом я вспомнил наш разговор и то, как меня восхитила ваша осведомленность. В свои тринадцать лет вы умудрились узнать об истории строительства ирригационных систем больше, чем многие студенты-инженеры, и уж тем более больше, чем все жители Рассвета, вместе взятые. Вы не стесняйтесь, пейте чай. Остынет же.

Он взял чашку, отхлебнул из нее, почмокал губами. Несколько янтарных капель повисли на его белой бороде.

– И потом я сказал себе: «Эй, эти парни не просто шпана. Они ведь искали что-то конкретное». И я вспомнил себя в вашем возрасте. Я ведь тоже делал много глупостей в детстве. И я сказал себе: «Эй, я тоже должен поговорить с этими пацанами, вправить им мозги». И вот что я вам скажу, ребята: даже самые благие намерения не дают вам права влезать в чужой дом. Это преступление. Уголовное. Вы это понимаете?

Приступ стыда, смешанного с паникой, постепенно проходил, я уже даже мог смотреть на Косаря. Ухо Грека сменило цвет – стало красным, как сигнал светофора.

– Да, – сказал я за нас обоих.

– Я долго жил, долго и странно, и я точно могу вам сказать, что самый ценный навык в жизни любого человека – это умение правильно формулировать вопросы. Этот навык – ключ от всех дверей. Я полагаю, вы влезли в мой дом потому, что вам казалось, будто я скрываю что-то от вас.

– А вы не скрываете?

Грек смотрел на него исподлобья. Взгляд у него был обиженный и озлобленный, как у ребенка, наказанного за проступок, который он не совершал.

Старик снисходительно посмотрел на Грека, взял чашку.

– Молодой человек, у каждого есть – как это говорят? – скелеты в кладете. – Он отпил чаю и снова почмокал губами (и, честно говоря, это его чмоканье ужасно раздражало). – И у меня они тоже есть. Но мы ведь не говорим о совсем личных вещах, вас интересует история Рассвета, верно?

Мы молчали. Старик заулыбался, и я только сейчас заметил, в каком хорошем состоянии находятся его зубы. Неужели вставные? Да не, точно вставные.

– Но я ведь не смогу вам помочь, если не буду знать, что вы ищете.

– Мы ищем Третье озеро, – сказал Грек.

– Третий пруд, – поправил Косарь, подняв палец, и добавил: – Его не существует.

– И куда он делся?

– А вот это – неправильный вопрос, – сказал старик.

– Скажите хотя бы, где он был и что с ним случилось? Его закопали? Или там что-то произошло? Какая-то трагедия? Я ведь с ума сойду, если не узнаю.

– Это тоже неправильные вопросы.

– Так нечестно.

– Что именно нечестно?

– То, что вы делаете. Мы так можем до старости тут сидеть и задавать вопросы, а вы будете говорить, что они неправильные.

Старик покачал головой, допил чай из своей чашки и снова почмокал губами:

– Вовсе нет. Как раз наоборот. Я пытаюсь направить вас.

– Вы можете просто сказать нам ответ, и все будут довольны.

– Нет, так не пойдет. – Он покачал головой и подался вперед, положив ладони на набалдашник трости и упершись в них подбородком (я снова заметил отсутствующий средний палец

на левой руке). – Когда я был маленький, такой же, как вы, и я слышал какое-то новое, незнакомое слово, я спрашивал у отца, что оно значит. И знаете, что он отвечал? Он говорил: «Если я тебе скажу, ты тут же забудешь. Чтобы запомнить и понять это слово, ты должен приложить усилие». Понимаете? Что не требует усилий – не заслуживает усилий. Правда – самое удивительное вещество на планете: ее недостаточно узнать, чтобы добраться до нее, нужно поработать. В основном головой, но иногда и руками. И ногами – в том случае, если надо куда-то идти за ней. Как правило – далеко. И чем больше усилий ты прикладываешь, тем ценнее ответы, тем больше вероятность, что ты сможешь правильно понять то, что узнал, и не забудешь об этом на следующий день.

– Значит, вы нам ничего не скажете?

Старик наливал себе еще чаю.

– Как это «не скажу»? Еще как скажу. Но я хочу, чтобы вы заслужили правду, поняли ее ценность. Точно так же мой отец никогда не говорил мне, что значит то или иное диковинное слово, он знал, что я тут же забуду его значение. Почему вы не пьете чай? Пейте.

Мы с Аней потянулись за одной и той же чашкой и одновременно сказали: «Ой, извини».

Я взял ту, что левее, она – ту, что правее. Я сделал глоток. Терпкий напиток с привкусом цедры уже остыл. Грек сидел неподвижно.

– К тому же, – сказал старик, повторив свою процедуру с чашкой: понюхал, отпил, почмокал губами, – у вас нет никаких причин верить мне на слово. Как вы поймете, что я говорю правду? Я ведь могу сказать все, что придет мне в голову. Например, что третьего пруда не существует потому, что автор проекта ненавидел цифру три. Как вы узнаете, вру я сейчас или нет? Ну же, я разговаривал с вашей мамой, Александр, она сказала, что вы любите играть в детектива. Полагаю, вы именно это сейчас и делаете. Для того чтобы я сказал правду, вы должны найти, придумать такой вопрос, от которого я не смогу отвертеться.

– Это всего лишь слова, – сказал Грек.

– «Всего лишь слова»? Слова никогда не бывают «всего лишь». Слово сильнее, чем вы думаете. Я знаю случай, когда «всего лишь» одно короткое слово обрушило целую стену. Одно неосторожно сказанное слово – и целый народ обрел свободу.

– Я не верю в магию, – сказал Грек.

Старик фыркнул и встал, опершись на трость; хрустнув коленными суставами, вышел из комнаты, вернулся через минуту и положил перед нами на стол какой-то камень. Точнее – обломок. Небольшой серый кусок бетона. Одна грань ровная, на ней даже виден фрагмент надписи.

– Берлинская стена, – сказал Косарь, усаживаясь обратно в кресло. – Двадцать семь лет она служила искусственным барьером между жителями западной и восточной частей Берлина. Но девятого ноября тысяча девятьсот восемьдесят девятого года все изменилось. Одно неосторожное слово – и все изменилось. Гюнтер Шабовски, пресс-секретарь Социалистической партии Германии, просто взял и ляпнул не то. Он рассказывал журналистам об упрощении порядка выезда граждан ГДР за рубеж. И тут у него спросили: когда новые правила вступят в силу? Проблема была в том, – старик поднял палец, – что Шабовски не знал точного ответа, он не удосужился просмотреть новые документы и потому не мог назвать точную дату. Но журналисты напирали, они кричали с мест: «Когда? Когда же? Сейчас?» И, не выдержав давления, вспотевший, испуганный Гюнтер ответил: «Насколько я знаю, да, сейчас». – Старик улыбнулся так, словно присутствовал при этом моменте. – Сейчас! Толпы людей кинулись к границе, и стена пала. Одно неосторожное слово и, – он показал тростью на камень, – граница превратилась в музейный экспонат, утратила свою силу. Люди перестали бояться.

– Откуда у вас этот камень? Вы были там? – спросил я.

– Все-то вам расскажи. Пусть это останется тайной.

– Пффф, одни тайны у вас. – Грек закатил глаза. – И ни одной разгадки.

– Ну почему же, разгадки у меня тоже есть. Я ведь сказал уже: единственный ключ к любой загадке – это правильно сформулированный вопрос.

– Несколько дней назад его брат, – Грек кивнул на меня, – Егор, ушел из музыкальной школы и потерялся. Это ведь вы нашли его.

Косарь кивнул.

– Кстати, спасибо за это! – вставил я.

– Он помнит, что встретил вас возле большого камня, – продолжал Грек, – и на камне были числа. Один, два, четыре, пять. Точь-в-точь как пруды.

Старик сморщился. «Так много морщин, – подумал я, – лицо похоже на грецкий орех».

– Вы хотите знать, что это за камень?

– А это правильный вопрос? Вы скажете нам?

– Я дам вам подсказку. – Он встал с дивана (суставы его хрустели, как хворост в костре), подошел к книжному стеллажу, взял книгу и бросил ее на стол, перед нами.

Старая, затертая обложка, название на иностранном языке. На обложке – два персонажа. Тонкий, с копьём, на тонконогом коне, и толстый, на жирном осле. Стоят и смотрят на ветряную мельницу.

Грек открыл книгу.

– Она не на русском, – сказал он.

– А вам и не надо ее читать, – ответил старик. Он медленно опустился в кресло, коленные суставы хрустнули, словно сломались. – Это очень редкий экземпляр. Берегите ее. Мой отец был переводчиком. Переводил с испанского. Он перевел эту книгу. Мои родители познакомились благодаря ей.

Грек полистал книгу, закрыл ее и еще раз взглянул на обложку.

– И что нам с этим делать?

Старик пожал плечами:

– Это загадка. С помощью ее вы узнаете, где искать этот камень. Отгадка прямо на обложке. Все очень просто. Вы же любите играть в детективов. Вот и разгадайте ее. Она проще, чем кажется. Если вы знаете историю Рассвета, вы не заблудитесь.

* * *

Я чувствовал: что-то не так. Мои родители, может, и не были идеальной парой, и все же иногда (очень редко, но все же) между ними возникало взаимное тепло, я чувствовал это излучение, добрую радиацию, когда сидел с ними за обеденным столом. Издательство, в котором работала мама, занималось выпуском сентиментальных женских романов, и мама редактировала их, стараясь, как она сама говорила, «придать всей этой адовой графомании удобоваримый вид». Иногда ей приходилось почти полностью переписывать рукопись. У нее даже появилось хобби: она собирала идиотские обороты, пошлые сравнения и ляпы из этих самых романчиков. И вечерами, когда мы все садились за стол, она зачитывала нам свои находки. Со временем это стало чем-то вроде семейной традиции. Отец даже потирал руки от нетерпения и спрашивал: «Ну чего там, давай, жги глаголом». Мама открывала свою синюю тетрадь и читала: «Матильда лежала на спине и молча поедала потолок». Тут, вероятно, имелось в виду, что потолок эта самая Матильда поедала глазами, но автор забыл уточнить. Мы все хихикали и поднимали головы, смотрели вверх и пытались представить себе эту сцену – женщина ест потолок. А мама продолжала: «Она зашла в дом, а голову оставила на улице» («Это уже что-то из Майн Рида», – замечал отец, бросая ложку сметаны в борщ).

Их отношения никогда не были идеальными, но той весной тепла между ними становилось все меньше – такое вот резкое похолодание, холодный фронт. Я больше не чувствовал доброй радиации, теперь они, казалось, стеснялись смотреть друг другу в глаза. Даже Егор

почувал изменения в атмосфере, и вечером, перед ужином он садился поближе ко мне, а не к маме.

Отец все чаще задерживался на работе, он просто не успевал к ужину. «Дипломники, – говорил он, пожимая плечами, – ничего сами не могут».

Ритуал был нарушен.

Если бы я мог, я бы дал всем родителям один совет: почаще (а лучше всегда) говорите своим детям, что они ни в чем не виноваты. Каждую ссору родителей, каждую грубость ребенок легко запишет на свой счет и будет навьючивать себя неврозами, как дромадер, пока не надорвется.

В молчании родителей, в их нежелании объяснять детям свое поведение всегда есть какой-то нездоровый и невежественный эгоизм, им кажется, что они выясняют отношения между собой и что дети здесь ни при чем. Але, родители, если у вас есть дети, забудьте про «между собой».

– Зачем объяснять ребенку очевидные вещи? – скажут родители.

И в этом вся разница между нами: многие взрослые просто не понимают, что дети живут в мире, где «очевидных вещей» не существует в принципе, и яичница на завтрак – штука такая же необъяснимая, как и летающие тарелки или киты, а ссора между родителями – событие, по степени чудовищности равное ядерному удару.

И, в общем, отец все чаще задерживался на работе. А приходя домой, включал телевизор и просто смотрел на экран, словно замороженный, загипнотизированный; так древние люди, наверно, смотрели на огонь.

А потом...

23 апреля я, как обычно, забрал Егора из музыкальной школы. Мы возвращались домой, деревья уже обросли листвой, был вечер, но солнце было еще высоко, и небо слепило всеми оттенками синего. Мы, кажется, о чем-то говорили, я пробовал шутить – неудачно. Мы были скованы, не очень-то хотели возвращаться домой, в эту враждебную тишину.

Я вставил ключ в скважину и попытался повернуть его, но оказалось, дверь открыта. Я толкнул ее и тут же увидел осколки стекла в коридоре. Стеклопанель вставка в кухонной двери была разбита, солнечный свет поблескивал в местах скола и в россыпи стеклянной крошки на линолеуме.

Егор вцепился в мою руку. Я чувствовал себя как космонавт, ступающий на белую лунную поверхность. Словно мы одни тут, на Луне, в кратере, и воздуха все меньше. Только вакуум кругом и громкий звук собственного дыхания в голове: шшшш, шшшш, шшшш. Вдох, выдох – почему так душно?

Я сделал несколько шагов по коридору и заглянул в зал, очень осторожно, словно боялся, что в меня могут выстрелить. Всюду бардак – одежда, брюки, носки, два открытых чемодана на полу.

«Нас ограбили», – то ли сказал, то ли подумал я.

Егор смотрел на все это из-под моей руки, словно надеялся, что я смогу защитить его в случае чего.

Потом я увидел телевизор. Он работал без звука, пульт на полу, на ковре. Показывали новости, съемки какого-то тонущего корабля, черные и радужные пятна на морской поверхности, чайки и тюлени, увязшие в черной жиже. И заголовок внизу «Разлив нефти в заливе». «Какой дурацкий заголовок, – помню, подумал я, – «разлив в заливе» – как же глупо это звучит». А потом еще подумал: если нас ограбили, тогда почему телик не взяли? Это не имеет смысла. Телик – самое ценное, что есть в этом доме. Еще синтезатор Егора. Но и он тоже на месте.

– Это вы? – Хриплый голос из кухни.

Мама смотрела на нас сквозь разбитое окно в кухонной двери. Глаза у нее были красные, и все лицо словно съехало на сторону, куда-то влево-вниз, она шмыгала носом, в руке – дымящаяся сигарета. «Ты же не любишь запах дыма», – опять то ли сказал, то ли подумал я.

– Что случилось?

Она еще раз шмыгнула носом, открыла дверь, и я увидел еще больше осколков на полу – разбитые тарелки. И что это – капли крови? Я внимательно оглядел маму, с ног до головы – на ней ни царапины. Тогда откуда кровь?

На стене не хватало несколько кафельных плиток.

– Петро, я хочу, чтобы вы сейчас собрали вещи. Мы едем к бабушке с дедушкой. Помогите брату, хорошо?

– Да, но, – я смотрел на пол, – что здесь было?

– Просто собери вещи. Потом поговорим, нам надо ехать.

– А где папа?

Она сжала губы, словно сдерживала крик или ругательство, и я, не дожидаясь ответа, потащил Егора прочь по коридору, в комнату. Так солдаты бегут с линии огня.

Нам ничего не объяснили. Мы ведь всего лишь дети. Мы собирали вещи, Егор спросил у меня, надо ли брать игрушки и конструктор, я сказал, что не знаю, и он заплакал. Я начал утешать его, боялся, что мама услышит рыдания и разозлится еще сильнее.

Потом мы ехали в такси. Мама в темных очках и в косынке, кожа бледная, полупрозрачная, зеленая сетка сосудов на шее и вздувшаяся вена на виске.

– А где папа? – спросил Егор.

Мама не ответила, он повторил вопрос.

– Перестань, – сказал я ему тихо.

Он посмотрел на меня с искренним недоумением, словно не мог поверить, что я сказал это.

– Что? Но я же просто спросил, где папа?

– Прошу тебя, золотце, не сейчас. Давай потом поговорим. Маме надо подумать немного. Хорошо? Приедем к бабушке с дедушкой, и там... – Она громко сглотнула, как будто сама себя мысленно спросила: «что – там?» – и не смогла ответить.

Бабушка с дедушкой жили в двадцати километрах от Рассвета, в пригороде Новочеркасска, в собственном одноэтажном доме. Когда машина въехала на холм и стала спускаться, я увидел их, они уже стояли на пороге и ждали нас. Это было странно, я видел их еще издалека. Казалось, они стоят тут, возле собственного дома, уже очень давно и смотрят вдаль, на холм, и ждут, когда появится желтая машина. И вот мы появились, и бабушка тут же пошла, даже скорее побежала нам навстречу, хотя мы были еще очень далеко. Дедушка догнал ее и остановил. К тому моменту уже начало темнеть, таксист остановил машину и заглушил мотор, в свете фар мелькали насекомые, то ли мотыльки, то ли бабочки. Цикады журчали так, что закладывало уши. Бабушка подбежала к машине, открыла заднюю дверь и потянула Егора на себя, взяла его на руки и тут же схватила меня за руку и стала вытаскивать, словно боялась, что автомобиль вот-вот взорвется или исчезнет и мы взорвемся/исчезнем вместе с ним. Дедушка открыл багажник, достал чемоданы. Все молчали, никто даже не поздоровался.

Я бы хотел точнее описать тот вечер, но я не помню всех подробностей. Память не похожа на киноленту, гораздо больше она похожа на бракованную книгу, книгу-уродца, из тех, что коллекционировал Грек. Чернила в ней нечеткие, и строки наезжают друг на друга, и нумерация страниц нарушена, а иногда – ты видишь чистые листы.

Я помню, что тем вечером нам так ничего и не объяснили. И следующим утром – тоже. И даже через три дня взрослые отчаянно избегали разговоров на эту тему.

Я помню, как ночью меня разбудил Егор. Он стоял возле моей кровати, сжимая в руках книгу, с которой никогда не расставался, «Детский атлас мира». Я подвинулся, и он лег рядом.

И мы лежали в темноте и смотрели в потолок. Он вскоре засопел – уснул наконец. А у меня в голове вертелась эта фраза из маминой коллекции дурацких перлов из любовных романов: «Она лежала на спине и поедала потолок». Сейчас эта глупость уже не казалось мне смешной.

– Тебе холодно? – спросил Егор.

– Мне? Нет, а что?

– Ты дрожишь.

Я не нашелся что ответить и лишь спросил:

– А ты чего не спишь?

– А ты?

– ...

– Я хочу кое-что сказать тебе. Но это секрет.

– ...

– Ты сохранишь его? Обещаешь?

– Обещаю.

– Я не хочу быть музыкантом. Я хочу быть мореплавателем. Как Жак-Ив Кусто.

– Кусто не мореплаватель. Он исследователь моря.

– Ну вот я хочу быть как он. Только маме не говори, ладно?

– Почему?

– Она расстроится.

Я помолчал, потом потянулся к тумбочке и включил ночник. Комната озарилась темно-оранжевым, апельсиновым светом, на потолке нарисовался белый круг – свет лампочки вырывался вверх из плотного матерчатого абажура. Я взял у Егора атлас и начал листать его. «Все-таки у меня странный брат, – подумал я. – Какие у маленьких детей обычно любимые игрушки? Плюшевый мишка, трансформер, гоночная машина? А мой брат всегда берет с собой в постель «Атлас мира» или «Могучего властелина морей» Жак-Ива Кусто».

Впрочем, надо признать, книга была чудесная – с огромными цветными фотографиями и рисунками. Здесь даже есть карта звездного неба и карта океанического дна, заметил я. Самой смешной была страница, посвященная головным уборам: тут и викинги в своих нелепых рогатых шлемах, и английские солдаты в шапках, похожих на огромные черные меховые башни, и китайские мандарины, шляпы которых как перевернутые блюда для салата, и ковбои в крутых шляпах с загнутыми полями, и пираты в треуголках из акульей кожи, французы в беретах, ну и, конечно, русские в шапках-ушанках. И только у туземцев-зулусов из Африки не было головных уборов.

– А почему у них нет шапок? – спросил Егор. Ему было обидно за туземцев.

– Не знаю, – сказал я, – в Африке все очень бедные, наверно, у них нет денег на шапки. Да и потом, там ведь жарко, зачем носить шапку в жару? У тебя ж уши вспотеют.

Я перевернул страницу, и мы увидели несколько вариантов географических карт семнадцатого века. Они сильно отличались от современных. Как странно. Ведь в семнадцатом веке, когда еще не было спутников, самолетов и орбитальных станций, люди смотрели на эти карты и верили, что мир выглядит именно так. Мне стало не по себе от этой мысли. Сколько людей, думал я, заблудилось и умерло, доверив свою жизнь неправильной карте? Сейчас-то у нас есть всякие электронные штуки, самолеты-беспилотники, и уж они-то точно знают, как выглядит наша планета с высоты птичьего полета. И тут я снова осекся: «А ведь те люди в семнадцатом веке думали точно так же, – подумал я, – они ведь тоже наверняка думали: «Ну уж сейчас-то мы, просвещенное общество, в отличие от этих средневековых дикарей, которые сожгли Джордано Бруно, уж мы-то точно знаем, как выглядит мир. Вот мы и карты нарисовали!»

На самом деле средневековые карты всегда нравились мне гораздо больше, чем современные. В них не было самодовольства, никто не утверждал в них, что знает абсолютно все.

Неизвестные, неисследованные области на таких картах помечали фразой: «Hic sunt leones». «Здесь обитают львы».

Сегодня ученые утверждают, что им удалось получить максимально точный снимок планеты и что на Земле не осталось неисследованных областей. Но если это так, то почему в море до сих пропадают корабли? Просто исчезают с радаров.

Однажды я поделился этой мыслью с Греком. Мы разглядывали карту Рассвета, пытались понять, где может находиться тот загадочный камень с числами «1245». Я рассказал ему о разнице между современными и средневековыми картами и еще о том, что каждый раз, выпуская новые атласы, ученые утверждают, будто теперь их вычисления точнее некуда, но проходит время, и появляются новые ученые и доказывают, что в предыдущих атласах на самом деле было слишком много ошибок и лучше ими не пользоваться.

Грек кивал, это был первый раз, когда мне действительно удалось впечатлить его своими размышлениями.

– Мне нравится эта фраза, – сказал он и написал синей ручкой на карте Рассвета, на севере: «Здесь обитают львы».

* * *

– Мам?

Мы сидели за столом, я вилок ковырял полужесткий желток глазуньи. На краю тарелки лежали кусочки ветчины, но я не хотел мяса. На самом деле я всерьез подумывал о том, чтобы стать вегетарианцем.

Она подняла на меня взгляд.

– Пожалуйста, скажи нам, что случилось с папой.

Все перестали жевать и стали осторожно переглядываться.

– У вашего папы есть другая семья, – вдруг сказал дедушка.

– Леша! – Бабушка цокнула языком.

– Что? – Дедушка развел руками, в одной из них была вилка. – Вы же не можете все время молчать. Они должны знать правду.

– О господи-боже! – Бабушка закатила глаза. – Каждый раз одно и то же: есть сотни способов сообщить правду, и ты всегда – всегда! – выбираешь самый грубый.

– Уж лучше самый грубый, чем никакой, – сказал дедушка, возвращаясь к своему омлету. – Вы молчите, как канарейки, уже второй день. Нельзя так с детьми, им же страшно.

– Это очень деликатная тема. Мы подбирали слова.

– Это слова, а не рассыпанные монеты, чего их подбирать? Просто говори – и все. – Дедушка нанизывал на вилку куски тонко нарезанной ветчины.

– У папы другая семья? – подал голос Егор. Вообще-то он никогда не смотрел прямо в глаза, но сейчас уставился прямо на маму, тщетно пытался поймать ее взгляд.

– А разве так можно? – спросил я.

Лицо мое горело, меня словно бы обдало этой новостью, как крутым кипятком. Другая семья? Что это значит? В те годы я зачитывался страшилками Стивена Кинга и, услышав фразу «другая семья», тут же представил себе совершенно дикую картину: я подумал, что где-то в городе живет еще одна семья, точная копия нашей – такая же мама, такой же Егор и точь-в-точь такой же я. Наши полные, абсолютные двойники. Как в параллельном мире, как в зеркале. А отец у нас один – и он живет на две семьи. И он путешествует между этими параллельными мирами от семьи к семье, потому что... почему? Господи, какая глупость.

Я тряхнул головой и зажмурился.

– Вообще-то нельзя, – сказал дедушка. – Просто ваш папа – сволочь.

– Леша! – снова воскликнула бабушка. – Ну что ты опять!

– Если хочешь, чтобы я молчал, – говори сама. – Дедушка погрозил ей вилкой. – Мне надоело это хождение по мухам.

Бабушка медленно положила столовые приборы по краям тарелки. Мама смотрела в стол, она не двигалась, кажется, даже не дышала. Повисла тишина. Птицы чирикали за окном, на дереве. Что-то скрипело на ветру – долго и протяжно: то ли качели, то ли дверные петли.

– Ох, да сколько можно? Если не можете, я сам скажу. – Дедушка повернулся ко мне: – Ваш отец ушел...

Мама с грохотом отодвинула стул, встала и быстро вышла из кухни. Бабушка направилась за ней и бросила деду через плечо: «Я сейчас вернусь, и только попробуй скажи еще хоть слово!»

Дедушка угрюмо смотрел в свою тарелку и медленно жевал.

* * *

Уже тогда я знал значения слов «интрижка» и «любовница», но эти слова были для меня частью какой-то другой реальности – вымышленной. Это в кино и в книгах люди заводят интрижки и любовниц. Я никогда не думал, что такие вещи существуют в нашей скучной, обычной, провинциальной жизни.

Оказывается, существуют.

У отца была другая женщина (как объяснить это ребенку?). Потом он стал проводить все больше времени с ней и все меньше – с нами. В марте она, эта женщина, сообщила отцу, что беременна. Он обещал ей все уладить, но целый месяц продолжал тянуть, жил на два дома. Смотрел нам в глаза и улыбался, уже зная, что предал нас, – вот как все было. А 23 апреля, в тот самый день, не знаю уж зачем и почему, – возможно, они с отцом поссорились, и эта женщина – другая женщина – просто взяла и позвонила к нам домой. Мама взяла трубку. И та, другая, женщина рассказала ей все.

А дальше – скандал, драка, ругань, проклятия, тарелки, летящие в отца, разбитое стекло на кухне, отлетевшие фрагменты плитки, капли крови (одна из тарелок, самая первая, угодила отцу в лоб; шесть швов).

Наш разрушенный дом.

И мы переехали к дедушке с бабушкой.

* * *

Мама никогда особо не ладила с дедом. Она не называла его «папа», только «отец», а когда злилась – «полковник». Из ее уст это звучало как оскорбление.

Дедушка был военным, а военных мама презирала больше всего, называла их «птеродактилями». Дед вечно был в разъездах, дочь видел редко, ее, по сути, воспитала наша бабушка, Вера Михайловна. Наверно, из-за этого мама выросла полной его противоположностью (хотя сам он говорил, что она выросла такой ему «назло»). Он был военным-артиллеристом: участвовал в боях, имел награды, хранил коллекцию оружия. Мама же ненавидела насилие, а его коллекцию называла «люфтваффе».

– При чем здесь люфтваффе? – удивлялся дед. – Люфтваффе – это военно-воздушные силы Третьего рейха, а у меня коллекция ружей. Голландских и бельгийских. Тут вообще нет никакой связи. Если ты хочешь меня оскорбить, то хотя бы делай это логично. – Когда он злился, он размахивал правой рукой, указывал куда-то вдаль (в светлое будущее) словно политик, толкающий речь перед избирателями.

Вообще, стоило им – маме с дедушкой – оказаться в одной комнате, и я буквально чувствовал высоковольтное напряжение. Они почти не разговаривали, но их взаимная неприязнь

наполняла комнату электричеством, казалось, что еще чуть-чуть – и начнут лопаться лампочки в люстре.

Коллекция деда хранилась в его кабинете, под замком, но в зале стоял еще один стеклянный шкаф, где на всеобщее обозрение было выставлено любимое дедово ружье: бельгийское «Август Лебо». Я часто рассматривал его – и представлял себе, каково это: заталкивать патроны в стволы, нажимать на курок и чувствовать плечом отдачу.

– Хочешь поддержать? – спросил однажды дед, проследив мой взгляд.

– А можно?!

– Ну, конечно.

Он достал из кармана связку ключей и потянулся к замку.

– Даже не думай, – раздался мамин голос с кухни.

Вот это слух! Она из другой комнаты услышала, о чем мы говорим?

Дед устало вздохнул.

– Слушай, я не собираюсь «учить его убивать», ничего такого. Я просто дам ему поддержать ружье – оно не заряжено, расслабься.

– Я сказала, нет. Ему всего тринадцать.

Дед посмотрел на меня и пожал плечами:

– Извини, малек. Твоя мама – пацифистка.

– Ну, ма-ам! – Я зашел на кухню, мама нарезала салат. – Я ведь только поддержать.

– Я думаю, он прав, Петро. У тебя ведь есть свое ружье, – говорила бабушка. Дочь дипломата, она всю жизнь улаживала конфликты между домочадцами.

– Да, но оно ненастоящее!

* * *

Они всегда все делали назло друг другу. И, разумеется, дождавшись нужного момента, дед достал ружье из-под стекла и вручил мне. Оно оказалось тяжелее, чем я думал, гораздо тяжелее, чем моя пластмассовая двустволка, – и эта тяжесть вызывала дрожь. Дула перевешивали, и мне приходилось отклоняться назад, чтобы держать равновесие.

– Вот это да-а-а...

Дед достал из шкафа деревянный ящичек, открыл его золотистым ключом и вытащил оттуда несколько красных патронов.

– Пойдем, – сказал он, мотнув головой в сторону двери.

Мы вышли из дома и направились к пруду. Ружье в моих руках становилось все тяжелее, я уже не мог его нести и стал просто волочить за собой. Дед заметил это – и вцепился мне подзатыльник.

– Ну что ты делаешь? Тьфу! Это же «Август Лебо», твою ж мать! – Он вытер стволы носовым платком и перекинул ружье через плечо. – Пойдем, чудик.

Я семенил за ним.

В пруду плескалась молодежь – два парня и две девушки. Они шумно прыгали в воду с небольшого деревянного пирса – кричали, визжали, смеялись.

Один из парней – коренастый, лысый, с синей наколкой на плече – сидел на краю мостика, свесив ноги, с сигаретой в зубах. Он заметил нас на другой стороне пруда, за камышами, и крикнул – хрипло, протяжно:

– Полко-о-овник!

Его друзья перестали плескаться и тоже посмотрели в нашу сторону – и замахали руками: «Полко-о-овни-и-ик!» От их воплей две утки выпорхнули из камышей и полетели прочь. Молодежь засмеялась. Дед лениво махнул им рукой, не останавливаясь. Я шел следом и чувствовал бесконечную гордость – даже эти шумные гуляки уважали моего деда.

Мы вышли на широкую поляну, где среди зарослей виднелся огромный пенёк. Дед ловко зарядил ружье, потом одним движением, как ковбой, вернул стволы на место и посмотрел на меня:

– Готов?

Я закивал.

– Смотри на пенёк.

Раздался выстрел, и на мгновение я оглох. Я наблюдал за тем, как облако синего дыма поднимается из стволов. На пне появилась светлая отметина – расщепленная древесина. Дед разломил ружье, вытащил горячие гильзы, сунул их в карман куртки и вставил два новых патрона. Потом задумался, бросил взгляд на меня – и вытащил один патрон.

– Иди сюда, – сказал он.

Я подошел, он встал на одно колено и показал мне, как правильно держать ружье.

– Прижми приклад к плечу, если не хочешь, чтобы отдачей тебе сломало ключицу.

Он стоял у меня за спиной и помогал целиться. От него пахло жареным луком.

– Все. Нажимай.

Я задержал дыхание, зажмурился – и надавил на спусковой крючок, но ничего не случилось.

– Не тот. Левый, – сказал дед мне на ухо.

* * *

Отдача превзошла все мои ожидания – приклад не сломал мне ключицу, но оставил здоровенный синяк на плече. Весь день у меня звенело в ушах – сквозь звон я с трудом мог слышать, как мама и бабушка кричат на деда:

– Еще раз – и ты больше никогда нас не увидишь!

С тех пор дед больше не пытался привить мне любовь к оружию – он и сам понимал, что перегнул палку. Ему было неловко, он сидел в кресле и молча, угрюмо опустив голову, сносил упреки, как нашкодивший пес.

И мне – мне тоже было стыдно. Мама не разговаривала со мной, даже не смотрела в мою сторону. Даже Егор, кажется, стал держаться от меня подальше, словно, взяв в руки ружье, я автоматически превратился в убийцу.

Всю ночь мне снились кошмары, я проснулся, замотанный в простыню, как мумия. Лунный свет, пробиваясь сквозь сдвинутые шторы, тонкой белой линией наискосок ложился на пол. Я всегда боялся этого луча – мне казалось, что, если я задену его, он отрежет мне руку, как лазер в научно-фантастическом фильме. Поэтому, двигаясь к двери, я осторожно обошел лунный «лазер».

Я пробрался в спальню мамы и растолкал ее.

– Что? Уже? Сколько времени? – забормотала она.

– Мааам, – прошептал я.

– О господи! – Она вздрогнула и потянулась к ночнику. Когда свет зажегся, она приподнялась на локтях и, шурясь, посмотрела на меня: – Что такое? Плечо болит, да?

– Нет. То есть да, но я не об этом. Я хотел сказать, что больше не буду.

– Это не может подождать до утра?

Я помолчал, набираясь смелости.

– Я тоже хочу быть пацифистом, как ты, мам.

– Пацифистом? А, это хорошо. – Она зевнула. – Это все? Ты за этим пришел?

– Да.

– Что ж, я рада, что мы все выяснили. Иди, ложись спать, завтра поговорим об этом, хорошо?

Она выключила ночник и повернулась на бок. Я постоял немного в темноте – и снова включил ночник. Мама открыла глаза и, щурясь, посмотрела на меня.

– Ну что еще?

– А что обычно делают пацифисты? – спросил я.

Она терла лоб ладонью.

– В смысле «что делают»?

Я пожал плечами:

– Ну, маляры красят заборы, военные воюют, а пацифисты – они что делают?

Мама задумалась:

– Да, в общем, ничего.

– Как это «ничего»? То есть если я весь день лежу на диване и ничего не делаю – я пацифист?

Мама вздохнула.

– Нет, если ты весь день лежишь на диване – ты лентяй, а не пацифист.

– А в чем разница?

Она потянулась к ночнику и погасила свет.

* * *

И все же дед мой – даром что военный – никогда не ассоциировался у меня с оружием. Он пах не порохом, а проявителем. В подвале его дома располагалась фотолаборатория, где на веревках, как белье, при свете тусклых темно-красных – иногда зеленых – фонарей сушились фотографии. Бабушка не любила заходить туда – подвал напоминал ей «логово серийного убийцы». А я наоборот – хотел там жить. И дело даже не в искусстве фотографии – хотя и мысль о том, что время здесь остановилось, испуганное вспышкой объектива, приводила меня в восторг. Больше всего я любил сам процесс проявления: дед постепенно приобщал меня к ритуалу – сперва я просто наблюдал, сидя в углу на старой, хромо́й табуретке; потом он доверил мне раке́ль – я должен был снимать остатки влаги с проявленной пленки. «Снимай осторожно, не дави – поцарапаешь». А дальше – высший пилотаж: работа с фотоувеличителем и реактивами, выбор степени зернистости и прочее. Сложнее всего – поймать мгновение. Я запорол немало снимков, пытаясь с помощью секундомера рассчитать время выдержки – и каждый раз получал слишком контрастные, мертворожденные изображения – лица приобретали черты манекенов, восковых фигур. Они снились мне в кошмарах – как если бы и собственные сны я слишком долго держал в проявителе.

У каждого фотографа есть своя тема. Кто-то снимает портреты, кто-то – пейзажи, кто-то – натюрморты. Дед любил снимать руки. Точнее, кисти рук. У него была целая серия снимков такого рода.

– Если глаза – это зеркало души, то ладони – карта характера, – говорил он. – Смотри.

Он выкладывал на стол фотографии. На одной: хрупкое запястье, ветвление вен под тонкой кожей, длинные, очень длинные пальцы. На другой – рука сжата в кулак, костяшки неровные, квадратные. Обе фотографии были черно-белые, но я все равно отчетливо видел, насколько бледна и нежна кожа на первом снимке; кулак же, напротив, был темен, смугл.

– Видишь? – сказал дед. – Ты можешь не знать о человеке ничего, но его руки часто скажут все самое важное. Дело здесь даже не в форме ладони, длине запястья, нет, я говорю о движениях. Люди ведь по-разному держат руки, например когда сидят.

Больше всего дед гордился фотографиями рук бабушки. Он сделал более четырехсот снимков ее пальцев, скользящих по клавишам рояля, он покадрово, секунда за секундой, заснял, как она играет двадцатый ноктюрн Шопена. Эти снимки – все четыре сотни – занимали всю северную стену в его лаборатории. Я любил разглядывать их, мой взгляд перемещался от

снимка к снимку, и мне казалось, что я слышу музыку. Мне было тринадцать, я мало что понимал в музыкальной гармонии, еще меньше – в искусстве в целом, и все же эти фотографии, этот разбитый на серию отдельных кадров фильм был похож на большое, красивое стихотворение. Я много раз видел, как бабушка играет на рояле, но, лишь увидев «раскадровку», я понял (или мне казалось, что понял) всю красоту фортепианной музыки Шопена.

* * *

После утра, проведенного в подвале среди химикатов, мы шли в лес – подышать свежим воздухом. Я следовал за дедом, как прикованный. А он рассказывал истории.

– Помнишь, как ты однажды потерялся в лесу?

– Я? Нет.

– Тебе было шесть.

– Неправда. Я никогда не терялся в лесу.

– Мы пошли за грибами, было солнечно, прямо как сегодня. К полудню я набрал уже полную корзину белых. Твоя корзина была полна мухоморов – это был твой «мухоморовый бунт». «Ты собираешься их есть?» – спросил я. «Нет, я собираюсь их пить», – огрызнулся ты.

– Не было такого. Ты все выдумываешь! – говорил я, смеясь, но он продолжал как ни в чем не бывало:

– Помню, я ужасно разозлился и хотел всыпать тебе, но ты стал бросаться мухоморами, а потом и вовсе убежал.

Я помню тот лес: косые лучи в частоколе сосен. И твоя спина, твои мелькающие пятки вдали. Естественно, я ждал, что ты вернешься – я был уверен, что ты где-то неподалеку, наблюдаешь за мной. Но прошло пять минут, десять, час, два – а тебя все не было. Нигде: ни у друзей, ни дома. Когда стало темнеть, вся деревня высыпала в лес на поиски – даже баба Надя. Ей было девяносто, она была почти слепа – но, даже несмотря на это, полна решимости найти тебя и выпороть.

Ох, та ночь: темнота и – редкая листва, кусты, пылинки, ветки, мотыльки, мелькающие в белом свете фонарей. И крики отовсюду: «Петро-о-о!» Признаться, я струсил тогда. Даже мамане твоей не решился позвонить. Ну, что я мог ей сказать: «Мы ходили по грибы, и я потерял твоего сына. Зато набрал целую корзину белых».

Искали тебя до четырех утра, и возвращаясь я такой домой, взять новые батарейки для фонаря, и что я вижу: твои заляпанные грязью сапоги на пороге и куртку – на вешалке. Ты вернулся домой и просто лег спать. Я был так рад, что даже не смог толком разозлиться на тебя. Хотя пытался.

– Это правда было со мной? – спрашивал я после паузы.

– Нет, – говорил дед. – Это было со мной. Когда я был такой, как ты сейчас.

Его истории напоминали лоскутные одеяла – причем рассказ обычно строился так виртуозно, что швы между ложью и правдой были совсем незаметны. Он любил приврать и приукрасить, но при этом жутко обижался, когда люди подвергали сомнению его рассказы.

* * *

Время, проведенное в деревне со стариками, было для меня особенно важным – ведь в отличие от моих родителей, бабушка с дедушкой действительно любили друг друга – без всяких оговорок. Это проявлялось во всем – даже в ссорах: они могли, конечно, поругаться из-за мелочи, долго играть в молчанку, но при этом оба после размолвки выглядели так виновато, что мне хотелось пожалеть их. И сцены примирения сопровождалась какой-то юношеской робостью: дед, страдавший от артрита, во время обеда иногда ронял вилку на пол, бабушка молча

поднимала ее, ополаскивала в раковине, вытирала фартуком и вкладывала ему в руку. Потом садилась напротив, подперев голову ладонью, смотрела, как он ест, – и вдруг говорила нежно: «Дур-р-рак ты». Дед ничего не отвечал, но по лицу его было заметно, что ему приятно. Таких нюансов было много – стоило бабушке бросить взгляд на солонку, дед тут же протягивал руку и пододвигал солонку ближе к ней.

– А что такое любовь? – спросил я однажды у деда.

Мы стояли в очереди в магазине – и все покупатели стали озирались, услышав мой вопрос. Дамы заулыбались, ожидая ответа.

– Любовь – это как мороженое, только лучше, – сказал дед.

* * *

Вообще, конечно, дед был очень странный – мог выйти из себя на ровном месте.

Я помню случай, когда это вышло ему боком. Тем утром я сидел на кухне и ковырял ложкой овсяную кашу. Из окна я видел, как бабушка развешивает белые простыни на веревках. Дул сильный ветер, и простыни вздымались и раскачивались, как бестолковые, ленивые привидения.

И вдруг раздался выстрел! Глухой и хлесткий.

Бабушка обернулась и посмотрела на меня сквозь окно. Потом отбросила таз с бельем и, подхватив подол сарафана, кинулась в дом. Она толкнула дверь и пронеслась по кухне, окатив меня запахом стирального порошка. В коридоре ее остановила мама – она схватила ее за плечи и потянула назад.

– Леша! – закричала бабушка, глядя на дверь в подвал. – Леша!

Мы все испуганно смотрели на нее. Повисла тишина. Дверь отворилась, и из темноты вышел дед с пистолетом в руках. Он, шурясь, оглядел нас и сказал:

– Эта сука погрызла мои пленки.

– Какая сука?

– Мышь.

Он держался за ухо, явно оглушенный выстрелом.

– Ты стрелял в мышь? Ты... ты совсем, что ль, уже?

– Она погрызла мои пленки, – повторил дед упрямо.

Бабушка подошла к нему.

– Дай сюда! – Она прошла мимо меня на кухню и бросила оружие в мусорное ведро.

Дед, все еще слегка контуженный, виновато шел за ней.

– Ве-е-ер, ну ты чего? Ну.

– Ничего! – Она с ведром вышла на улицу и направилась в сторону озера.

Он догнал ее на полпути и потянул за локоть – она обернулась и посмотрела ему в глаза. Он был гораздо выше ее ростом, но странным образом смотрел на нее как бы снизу вверх, вжав голову в плечи, как провинившийся мальчишка. Развешенные повсюду стиранные простыни частично скрывали их от меня. Дул ветер, простыни вздымались, и я мог сквозь окно видеть, как они спорят.

– Что? Что я тебе говорила? У нас был уговор, разве нет?

– Да, но...

– В доме дети!

– Да, но...

– Что «но»? Что «но»? Мне плевать, что это именно пистолет! Ты больше его не получишь! Конец беседы!

Дед смиренно смотрел, как бабушка шагает к озеру. Она вышла на пирс, брезгливо, двумя пальцами достала пистолет из ведра и бросила в воду.

Мама, стоявшая за моей спиной, хмыкнула:

– Вооружила рыб.

Бабушка демонстративно отряхнула руки и крикнула:

– Есть такое изобретение: мышеловка!

* * *

Так мы с Егором впервые в жизни попали на блошинный рынок. Дед взял нас с собой. Мы шли от ряда к ряду. Какое только барахло там не валялось: монеты, виниловые пластинки, книги, компасы, бинокли и даже – господи! – вставные челюсти, собачьи черепа, медвежьи когти. А иногда – обломки механизмов, предназначения которых не знали даже хозяева.

– Деда, а почему этот рынок называется блошиным? Тут ведь не продают блох.

– О-о-о, – протянул дед. – Это давняя история. Когда-то, давным-давно, когда миром правили блохи, блошинный царь выпустил указ...

– Деда.

– А?

– Мне тринадцать. Я не верю в блошинных царей.

Я помню, как впервые увидел медвежий капкан – огромные стальные челюсти. Я подошел поближе и спросил:

– А что это?

Продавец сверкнул золотым зубом, хотел ответить, но дед перебил его:

– Нет, чудик, это, пожалуй, чересчур. Бабушка не оценит.

Продавец показал нам классическую мышеловку – сюда кладете сыр, здесь закрепляете пусковой механизм. Он даже устроил небольшое представление: выдернул из метлы тонкий деревянный прут и аккуратно надавил на качельку. Мышеловка грохнула и подлетела в воздух.

– Без шансов.

* * *

Мы вернулись домой, дед, как всегда, накинул шляпу на абажур светильника в коридоре и направился на кухню. Порывшись в холодильнике, он достал головку сыра и стал нарезать ее.

– Эй, это камамбер вообще-то! – сказала мама, наблюдая за ним. – Не слишком ли круто для мыши?

– Да брось, на нем плесень, он уже пропал.

Дед отрезал маленький квадратик сыра и быстрым шагом направился в сторону подвала. Сапоги его громко стучали по паркету. Он на ходу пытался зарядить пусковой механизм мышеловки, но старые пальцы не слушались.

– Давай я помогу, – сказал я, протягивая руку.

– Не надо, – проворчал он, оттолкнув меня.

Дед всегда становился груб, когда слышал жалость в моем голосе – тело все чаще подводило его: простейшие манипуляции вроде открывания дверей или нарезания хлеба теперь вызывали трудности, он раздражался, если не мог попасть ключом в замочную скважину, и, конечно, отчаянно храбрился, не желая признавать свою слабость. Я любил его за это еще сильнее – его отчаянная мужественность меня восхищала.

Он зашел в подвал, локтем поднял рычаг выключателя и стал спускаться вниз по лестнице, даже не дождавшись, пока нагреются и вспыхнут лабораторные фонари. Он оступился – и упал в темноту; раздался грохот – и звонкий щелчок. Когда свет наконец зажегся – я уви-

дел его: он лежал на боку, согнувшись в странной позе – как марионетка, запутавшаяся в собственных нитях.

– Дедушка! – Я кинулся к нему и сам чуть не споткнулся. – Деда, ты в порядке?

Мышеловка защелкнулась на его указательном пальце. Ноготь посинел.

– В порядке, – сказал он, повернув ко мне голову, и добавил после длинной паузы: – Только ослеп немного.

* * *

Он боялся старости – или скорее бессилия, связанного с нею. Потомственный военный, он считал слабость главным и единственным смертным грехом, поэтому не позволял никому из домочадцев за собой ухаживать. Он стал раздражителен и даже агрессивен. В первый раз услышав сочувственные нотки в голосе мамы, он схватил со стола первое, что попало под руку, – шариковую ручку и швырнул в нее, точнее, в ту зону, откуда доносился голос (артиллерист со стажем, он умел стрелять вслепую).

Дом превратился для деда в поле боя. Он не хотел признавать свою слабость и каждое предложение помощи расценивал как нарушение границ, интервенцию. В итоге через неделю домочадцы стали просто избегать его. Он слышал, как на кухне шепчутся, словно присяжные, обсуждающие его будущее, и, открывая дверь своей фотолаборатории, кричал им: «Не дожидесь!»

Иногда к нему спускалась бабушка.

– Может, хватит уже дурака валять? Чего ты, как маленький? – Она знала, как с ним надо разговаривать. – Пойдем спать.

Он упрямо молчал.

– Я не ради тебя стараюсь, а ради себя. Я не могу уснуть без твоего храпа.

Дед вполне понимал, что ведет себя неприемлемо, что поведением своим отравляет жизнь окружающим. Но он не мог остановиться. Он был загнан в угол собственными принципами – и собственным упрямством.

Ночью он крался вдоль стен, находил спальню, хватался за холодную латунную ручку – замирал на мгновение и тихо открывал. Она спала, он слушал ее дыхание.

* * *

Он не хотел ни с кем говорить, и только мне и бабушке было позволено спускаться в его личную темноту. Я приносил ему обед, иногда читал книги и газеты, но чаще всего я перебирал фотографии и описывал их для него. Он слушал внимательно.

– Да, я помню этот момент. Положи в левый ящик.

Когда я уходил, он кричал вслед:

– Выключи свет.

Я поднимался по ступенькам, оборачивался и видел его фигуру в кресле, подсвеченную тусклым, искусственным сиянием лабораторных фонарей. Я опускал рычаг выключателя – фонари медленно тухли, фигура исчезала – и мне казалось, что если я сейчас опять включу свет, то увижу лишь пустое кресло. Я тянулся к рычагу, но не решался – мне было страшно.

А вечером, проходя мимо двери, ведущей в подвал, я слышал шорохи из темноты – и я не мог поверить в то, что эти шорохи – все, что осталось от него.

* * *

Он сидел в своем подвале окруженный фотографиями и аппаратурой. В темноте ему становилось легче – внешний мир не тревожил его.

Он открывал и раскручивал старые пленки, тщетно пытаясь на ощупь определить, почувствовать изображения. Он разбирал фотоаппараты – «Зенит», «Зоркий», «ФЭД-2» – чистил детали и возвращал на свои места.

Ему нравилось слушать звук затвора, шорох вынимаемой пленки и гул лабораторных фонарей.

Каждый день я помогал ему перебирать снимки. Я брал фотографию, описывал ее (наверно, именно тогда я осознал, как это важно, уметь подбирать наиболее точные слова).

– Большая, темная ладонь, тыльная сторона. Она демонстрирует свои кольца.

– Она? – спросил дед.

– Да, это женщина. Длинные, покрашенные ногти, она положила ладонь на деревянный стол, чтобы дать тебе ее сфотографировать. Она как бы позирует, ее ладонь. Я думаю, она была польщена, когда ты попросил разрешения сфотографировать ее руку. И еще кольца, их много.

– Молодец. – Дед улыбнулся. – Ты быстро схватываешь. Положи в третью коробку.

Я выполнял просьбу и брал следующий снимок. На самом деле никакого смысла в их сортировке не было – как ни старался, я не мог понять, какими принципами руководствуется дедушка, распределяя снимки по коробкам.

В какой-то момент все это стало ужасно тяготить меня. Я продолжал приходить к нему каждый день, но уже скорее из чувства долга. Меня уже тошнило от снимков с изображениями рук.

Вот тут-то и случилось невероятное: я извлек из стопки очередное фото, стал разглядывать его, и вдруг меня словно облили холодной газировкой. Рука на снимке опиралась на трость, один палец – средний – отсутствовал.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.